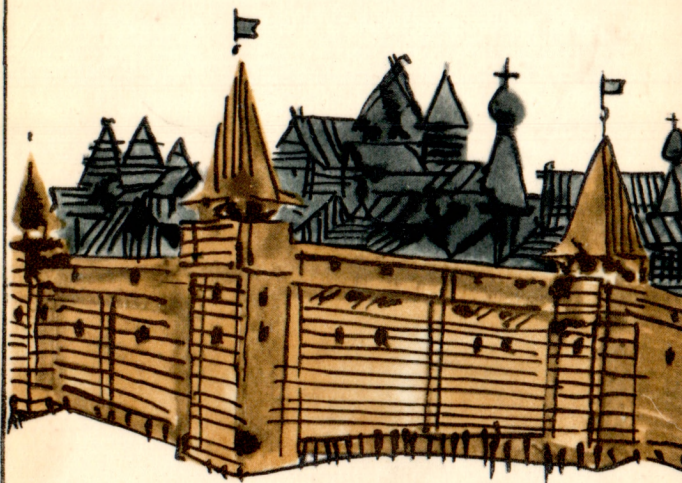




СОВРЕМЕННОСТЬ

ВАДИМ КАРГАЛОВ
*У ИСТОКОВ
РОССИИ*

НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТЬ •



Вадим Каргалов

У истоков России

(Даниил Московский)

Историческая повесть



Москва • 1979

Pi
K21

Каргалов В. В.

K21 У истоков России (Даниил Московский): Историческая повесть. — М.: Современник, 1979. — 288 с. с ил. (Новинки «Современника»).

Повесть Вадима Каргалова посвящена первым шагам Московского княжества, государственной и военной деятельности московского князя Даниила, сына Александра Невского. Автор достоверно воссоздает далекое прошлое России, историческую обстановку, в которой начинался прогрессивный процесс объединения вокруг Москвы всех русских земель.

К	70302 — 099	31 — 79	4702010200	P1
	M106(03) — 79			

Пролог

Мутная полая вода Клязьмы в ту весну, от сотворения мира шесть тысяч семьсот восемьдесят четвертую¹, поднялась до самых Волжских ворот.

Воротная башня стояла в устье оврага, ближе к речному берегу, чем остальные башни стольного города Владимира, но даже старики не могли припомнить, чтобы в прошлые годы досюда доходила вода. Весна выдалась на редкость дружная, с грозами и проливными дождями. Суда подплывали не к торговой пристани, как обычно, а прямо к воротному проему, где посадские плотники наскоро сколотили дощатые мостки.

Но в тот апрельский день купеческие струги и учаны не осмеливались причаливать к мосткам. Вдоль мостков стояли остроносые воинские ладьи.

Дружинники в синих короткополых кафтанах грузили в ладьи сундуки, коробки, узлы с одеждой. Осторожно ступая по осклизлым доскам мостков, пронесли тяжелый кованый ларец с казной.

Следом важно прошествовал княжеский

¹ 1276 год. Даты приводятся по принятому в те времена летосчислению. (Здесь и далее примечания автора.)

тиун, сел на корме возле ларца, провел ладонью по лохматой бороде. Два холопа с секирами пристроились рядом.

Дружинники насмешливо переглянулись: осторожность тиуна показалась им забавной. «От кого бережется? Чужих людей здесь вроде бы нет, да и взяться им неоткуда — за воротами, со стороны улицы, крепкий караул...»

Тиун неодобрительно покосился на дружинников, насупился, ткнул кулаком холопа:

— Не зевай по сторонам! Чай, на княжеской службе!

Холоп выпрямился, поскущел лицом, тоже стал глядеть сердито, подозрительно.

Дружинники перестали улыбаться, заработали молча, споро.

Тиун удовлетворенно вздохнул, сложил руки на животе, перетянутом ремешком много выше пояса — чтобы люди уважали, видя сытость и дородство княжеского слуги. «Вот теперь все как подобает, — отметил тиун. — Блюсти княжескую казну — се не насмешки, но уважения достойно. Потому что — усердие!»

Из-за облаков вынырнуло веселое весеннее солнце. Свечами вспыхнули над стеной Детинца купола Успенского собора, главного храма владимирской земли.

Тиун любовно повертел перед глазами колечко с камнем-самоцветом. В камне отразилось солнце — маленькое, домашнее, будто огонек лампы. «Красиво!»

Колечко это подарил тиуну Федьке Блюденному прежний господин, владимирский боярин Протасий Федорович Воронец. И не просто подарил, а со значением: чтобы помнил тиун, кто возвысил его, человека худородного,

чтобы и на княжеской службе о делах прежнего господина радел...

«Порадеть о боярской пользе можно,— размягченно думал Федька, не отводя глаз от дорогого подарка.— Протасий Федорович богат, властен, в большой милости у нынешнего великого князя Дмитрия Александровича. Иначе разве бы приставили его большим боярином к молодому Даниилу? А Даниил-то хоть и получил московский удел, хоть и сам из славного рода князей Александровичей¹, но пока что милостями старшего брата жив, у боярина великокняжеского под присмотром. А на Москве его другой великокняжеский боярин ждет, наместник Петр Босоволков. Тут еще подумать надобно, чью руку держать, княжескую или боярскую. Как бы не прогадать...»

От Детинца донесся колокольный звон, поплыл, замирая в лугах за Клязьмой. Закончилась неуставная служба о здравии путешественников и странствующих, которой почтил отбывавшего московского князя владимирский епископ Федор.

Дружинники принялись топопливо натягивать кольчуги, нахлобучивали островерхие шлемы, развешивали по бортам ладей овальные красные щиты. Десятники подняли возле кормовых весел разноцветные флажки-прапор-

¹ Князья Александровичи — сыновья Александра Невского. Старший — Дмитрий — владел Переяславлем и в 1276 году стал великим владимирским князем. Средний — Андрей — княжил в Городце. Младший — Даниил — получил в удел Московское княжество, выделившееся из Великого княжества Владимирского. До этого Москва управлялась великокняжескими наместниками.

цы. Холопы расправили над княжеским креслом нарядный полог, сшитый из желтых и красных шелковых полос.

Тиун Федька Блюденный достал из кожаной сумки-калиты деревянный гребень и старательно расчесал бороду — тоже приготовился встречать князя. На круглом, с узенькими щелочками-глазами лице тиуна застыла приличествующая такому торжественному случаю умильная почтительность, благоговение...

К ладьям выбежал сотник Шемяка Горюн, крикнул сполошно:

— Идут!

Князь Даниил Александрович вышел из полумрака воротной башни на мостки, остановился, ослепленный солнцем, которое било ему прямо в глаза.

Был он, как все Александровичи, высок ростом, сероглаз и, несмотря на свои неполные пятнадцать лет, широк в плечах. Длинный красный плащ, застегнутый у правого плеча литой золотой пряжкой, опускался до пят. На голове молодого князя была меховая шапка с красным верхом. Сапоги тоже красные, сафьяновые. На шее золотая витая гривна — знак высокого княжеского достоинства, подарок старшего брата.

Нового московского владельца провожали ближние люди великого князя Дмитрия Александровича — дворецкий Антоний, большой воевода Иван Федорович, а из духовных чинов — придворный священник Иона.

Позади них скромненько держался боярин Протасий Воронеж. Мимо такого пройдешь — не заметишь. Маленький, сухонький, бородка клинышком, глазки потуплены, губы поджаты,

кафтанчик из простого сукна — смиренник, да и только...

Но люди, знавшие боярина в жизни, думали о нем иначе.

Властен был Протасий без меры, злопамятен, честолюбив, род свой выводил от старых суздальских вотчинников, вѣдомых своевольников, которые сели в Залесской Руси раньше первого князя Юрия Долгорукого. Иметь такого в верных слугах — благо, но во врагах — не приведи господи, опасно!

Ехать в новый московский удел боярин Протасий Воронеж согласился охотно. И не только потому, что боялся перечить великому князю, определившему ему эту службу. Протасий понял, что в стольном Владимире ему не будет ходу наверх. Новый великий князь привез с собой в столицу старых переяславских бояр, только им верил, только на них опирался. А Москва хоть и невеликое княжество, но там Протасий будет первым из первых, рядом с князем.

Потому-то и решил честолюбивый боярин служить князю Даниилу, помогать ему возвеличивать Московское княжество, а вместе с княжеством — и самому возвышаться...

Владимирский боярин Иван Романович Клуша, тоже назначенный сопровождать московского князя, был куда как дороднее, и одет богаче, и бороду имел во всю грудь, что считалось в народе верной приметой мудрости и мужской силы, — но от него Протасий не ждал соперничества. Муж этот был ума нешибкого, верховодить мог разве что в застолье. Одно достоинство у боярина Клуши — верен, как пес, недвуличен, что думал — то и рубил

сплеча. Такого только послом посылать к явным недругам, чтобы в точности передал гневные слова господина, не слукавил, не дрогнул перед опасностью. Храбрости Ивану Клуше было не занимать. Воин, охотник, кулачный боец...

Два боярина — Протасий Воронец да Иван Клуша, чернец-книжник Геронтий, крещеный татарин толмач Артуй и тиун Федька Блюденный — вот и вся свита, которую дал младшему брату великий князь Дмитрий Александрович. Все они люди для Даниила чужие, непонятные. Даже присмотреться к ним Даниил не успел, поверил на слово брату, что служить будут верно.

Но телохранители Даниила — Алексей Бобоша, Порфилий Грех, Ларион Юла, Семен и Леонтий Велины — были с княжичем пятнадцатый год, с самого его рожденья. Так уж повелось на Руси: князь-отец назначал к княжичу оберегателей из молодых дружинников. Всюду следовали оберегатели за своим господином, и только смерть могла освободить их от этой службы.

Но пока, слава богу, все переяславские дружинники, назначенные состоять при Данииле его отцом Александром Ярославичем Невским, живы. Давно превратились из безусых отроков в зрелых, умудренных опытом мужей — хоть сегодня ставь любого в волость наместником или в полк воеводой. Эти — верная опора.

Жаль, не дождался светлого дня, когда на Даниила возложили золотую княжескую гривну, его дядька-воспитатель Давид Борода, тоже переяславец, но не из младшей, а из стар-

шей отцовской дружины. Непреклонно стоял Давид Борода за род Александровичей, учил Даниила не верить притворному доброжелательству тверского князя, за что и смерть принял в Твери еще в малолетство своего воспитанника. Мир душе его многострадальной, тоже верный был человек...

Священник Иона поднял, благословляя Даниила, сверкающий камнями большой крест. Дворецкий Антоний и воевода Иван Федорович разом поклонились в пояс, как положено прощаться с владетельным князем.

Протасий Воронец отметил уважительность великокняжеских людей с удовлетворением, осторожно поддержал Даниила под локоток, когда тот спускался в ладью, и сам соскочил следом. Потом встал рядом с княжеским креслом под пологом, спиной к провожавшим, всем видом своим являя, что кроме князя Даниила ничего не занимает его мысли. Что с того, если великокняжеские любимцы еще стоят на мостках? Большому боярину Московского княжества они теперь без интереса... Хватит, наклонялся!..

Дружинники налегли на весла.

Вспенилась мутная речная вода.

Снова ударил колокол. Видно, сторожа с воротной башни подали знак в Детинец, и стольный Владимир оказывал последнюю честь отъезжавшему московскому князю...

* * *

Почти неделю плыли ладьи вверх по Клязьме, мимо черных разбухших полей, мимо хвойных лесов, мимо голых кустов ивняка, торчавших из мутной воды под берегами.

Кормчие мерили путь не по деревням — мало было деревень в здешних глухих местах, — а по устьям малых речек, вливавшихся в Клязьму.

Миновали Колокшу, Ушму, Пекшу, Киржач.

За речкой Дубной начались московские волости, тоже лесистые, малолюдные. Рыбачьи долбленные челны, выплывавшие навстречу княжескому каравану, поспешно разворачивались и скрывались в протоках: чужих, видно, здесь опасались. Редкие деревеньки в два-три двора прилепились к берегу. Возле изб луговины, огороженные кривыми осиновыми жердями, черные росчисти под пашню, стога прошлогоднего сена.

И снова лес, лес, лес...

На седьмой день пути впереди показалось село. Оно стояло возле волока, по которому судовые караваны с Клязьмы переваливались сушей на московскую реку Яузу.

Село было небольшое: десятка два изб, крытых потемневшим тесом, деревянная церковка на пригорке, боярские хоромы с высокой резной кровлей, обнесенные частоколом, — двор местного вотчинника.

Княжеский караван ждали. Едва ладьи вывернулись из-за мыса, звонарь ударил в железное било, подвешенное на столбе у церковных дверей; колокола, по бедности места, в селе не было.

К берегу выбежали люди.

Отдельно, серой невзрачной толпой, встали мужики — в бурых домотканых сермягах, в лаптях. Отдельно — посадские люди. Те выглядели побойчее, понаряднее — в сукон-

ных кафтанах с цветными накидными петлями, в остроносых сапогах без каблуков, из тонкой кожи; на войлочных колпаках — меховая опушка.

Возле пристани выстраивались в рядок московские ратники.

Даниил издали заметил, что это были не дружинники: вместо кольчуг — кожаные рубахи с нашитыми на груди медными и железными бляшками, вместо шлемов — стеганные на вате колпаки, мечи не у всех. Однако же народ был рослый, крепкий. Одень таких в дружинные доспехи — доброе получится войско...

Распахнулись ворота боярского двора. По тесовым мосткам спешил к пристани боярин в богатой зеленой шубе, с посохом в руке — московский наместник Петр Босоволков. За ним еще бояре, тоже одетые богато, цветасто.

Первым выпрыгнул из ладьи на пристань боярин Протасий Воронец — откуда только проворство взялось у старца! Склонился перед Даниилом в глубоком поклоне:

— Ступи, княже, на землю, богом тебе врученную! Будь господином земле и всем живущим на ней!

Подбежавший Петр Босоволков ожег бойкого боярина недобрым взглядом. Видно, наместнику показалось оскорбительным, что не он первый приветствовал князя на московской земле, не он произнес торжественные слова.

Но сдержал наместник свой гнев, в свою очередь поклонился:

— Ступи, княже, на землю свою!..

В селе, которое так и называлось — «Волок», княжеский караван задержался. От Клязьмы до Яузы был добрый десяток верст лесистого водораздела. Нелегко было перетаскать лады по размокшей весенней земле, по лесным просекам, по гатям через болотины. Петр Босоволков загодя пригнал к волоку мужиков из окрестных деревень. Низкорослые, жилистые пахотные лошаденки выбивались из сил, волоча за веревки лады. Смерды упирались плечами в скользкие смоляные борта. Но дело продвигалось медленно.

Князь Даниил не сожалел о вынужденном промедлении — некогда было ему сожалеть. Оказалось, что князь нужен сразу всем, как будто от него исходила какая-то сила, заставлявшая суетиться бояр, воевод, старост и дворовую челядь.

Даниил поначалу немного робел, искал одобрения своим словам у боярина Протасия Воронца.

Но боярин смотрел бесстрастно, почти-тельно-равнодушно, и по лицу его нельзя было догадаться, поддерживает или осуждает он своего князя.

Даниил не понимал тогда, что боярин преподносит ему первый урок княжеской мудрости — загодя обговаривать с думными людьми каждое дело, ибо после, при народе, подсказывать князю неуместно. А Даниил обижался на боярина. «Старший брат Дмитрий наказывал, чтобы советоваться с Протасием. Чего же он не советует?»

На вечернем пире Даниила посадили за

небольшим столом, стоявшим на возвышенном месте отдельно от других, и это тоже было непривычно. Даниил сжимал в кулаке двузубую серебряную вилку, неловко тыкал ею в блюда, которые с поклонами подносил волочанский вотчинник Голтей Оладьин, хозяин дома.

А блюд было много. Голтей Оладьин, сын Шишмарев, старался поразить великим хлебосольством, щедро вываливал на столы все богатство лесов и рек московских. Обильный стол — честь для гостеприимца!

Еще больше было на столах хмельного питья. Меды стоялые, меды чистые пряные, заморские вина в корчагах, пиво-олуи из ячменного солода сменяли друг друга, и казалось, им не будет конца. Как ни берегся Даниил, но под конец едва с кресла поднялся. Семен и Леонтий Велины под руки отвели сомлевшего князя в ложницу.

Наутро князь Даниил, перепоручив все дела тиуну Федьке Блюденному, созвал бояр для беседы. Так посоветовал Протасий Воронец, припомнивший к случаю поучительную притчу: «Если десять мечей пред тобою лежат, выбери лишь один из них, ибо правая рука у человека одна. А взявши все десять мечей в охапку, как биться будешь? Таки дела княжеские. Из многих дел выбери одно, самое нужное!»

Это был еще один урок княжеской мудрости...

Московские бояре входили в горницу, осторожно ступая по крашеным половицам, крестились от порога на красный угол, где висела икона богородицы, заступницы вла-

димирской земли и иных земель русских, — и смиренно рассаживались по лавкам.

Протасий Воронец и наместник Петр Босоволков по-хозяйски уселись возле самого княжеского кресла. Московские бояре внешне не показывали неудовольствия, хотя сидеть близко к князю — великая честь для каждого. Видно, уже признали Протасия и Петра самыми близкими советчиками князя.

А Протасий Воронец и Петр Босоволков поглядывали друг на друга ревниво, недоброжелательно. Кому-то из них предстояло быть первым в княжестве, кому-то — вторым, потому что сразу двух первых не бывает. Многогое зависело от первого разговора.

Как ни обидно было Протасию, но пришлось слово уступить наместнику Петру. Князь Даниил сразу спросил:

— Поведайте, бояре, о Москве, об иных градах московских, о волостях, о людях...

И Петр Босоволков, успевший за немногие месяцы своего наместничества изъездить московские земли вдоль и поперек, начал рассказывать. Он рассказывал неторопливо, обстоятельно, загибая толстые пальцы, — будто вотчину передавал новому хозяину:

— Городов в княжестве три. Большой град — Москва. В Москве Кремль деревянный крепкий на Боровицком холме, посад большой и многолюдный, пристани торговые на Москве-реке и на Яузе...

Московские бояре согласно кивали головами, одобряя слова наместника. Внимательно прислушивались, не пропустит ли чего — землю же представляет князю! Но наместник свое дело знал и говорил уверенно:

— Малые грады Звенигород и Радонеж. Крепостицы там небольшие, и посадских людей немного. Есть еще село торговое — Руза. Людей в Рузе много. Если срубить там крепость, будет Руза в княжестве четвертым городом...

Даниил слушал, запоминал.

Запомнить было нетрудно — невеликим оказался московский удел! Зажали его сильные соседи. Верх Москвы-реки был под Смоленском, а с полуденной стороны¹ по Москве-реке рязанские волости поднялись до самой речки Гжелки, которая от Москвы в сорока верстах. Да что тут много говорить?! Что вдоль, что поперек Московского княжества — полтора ста верст, за два дня из конца в конец можно проскакать, если конь резвый. С малого приходится начинать князю Даниилу Московскому...

Так и сказал боярам:

— С малого начинаю княжение. А дальше — как бог даст. Окрепнем — раздвинем рубежи. Рубежи-то наши не каменными стенами огорожены...

Вмешался Протасий Воронец. Давно нетерпеливо ерзал на скамье, искал случая вставить слово, и наконец дождался:

— Истинно говоришь, княже! С малого начинал и отец твой, блаженной памяти Александр Ярославич Невский. С единого Переяславского княжества. А как возвысился! На всю Русь! Мы поначалу города укрепим, войско умножим, людей соберем на пустующие земли...

¹ Полуденная сторона — юг.

— Людей стало много, — перебил Петр Босоволков. — Как прежний великий князь Василий Квашня призвал безбожных ордынцев на Русь, побежали люди из владимирских волостей к Москве. И из рязанских волостей после недавнего татарского разоренья люди бегут к Москве же...¹

— Таких людей с приязнью встречать надобно, — назидательно произнес Протасий и даже пальцем погрозил наместнику. — Не утеснять, но землю им нарезать под пашню, от тягостей освободить, пока не окрепнут, себрю дать на обзаведение...

— Так и делаем. Чай, и мы не без ума здесь. Княжескую выгоду понимаем.

Московские бояре одобрительно загудели, поддерживая наместника: «Истинно говорит. истинно!»

Протасий Воронец прищурил глаза, процедил недоверчиво:

— Еще поглядеть надобно, как делаете...

— Князь Даниил Александрович поглядит! — отрезал Петр Босоволков. — Князю судить о делах верных слуг своих, никому больше!

Даниил, слушая препирательства самых ближних своих людей, встревожился. Не с розни начинать бы княжение — с сердечного согласия... Но потом вдруг подумал, что, может быть, взаимная ревность Протасия Во-

¹Великий князь Василий Квашня в 1273 году позвал из Орды войско для войны с Новгородом. По пути к Новгороду татары дважды опустошали владимирские земли, что привело к бегству оттуда населения. А рязанские земли татары разорили в 1275 году, возвращаясь из похода на Литву.

ронца и Петра Босоволкова — на пользу княжескому делу? Может, перед ним не два медведя в одной берлоге, а два работника-страдника у одного вóрота?

Бредут такие страдники лицами в разные стороны, но по одному кругу, нажимают на разные рычаги, но веревку наматывают одну, и наматывают в две силы...

Пусть честолюбивые бояре тянут тяжкий груз княжеских забот в две силы, как те страдники у ворота! Пусть! А милостями не обделить ни того, ни другого — это уж его, княжеская забота!

Это был еще один урок княжеской мудрости, постигнутый Даниилом самостоятельно. А сколько их еще будет, таких уроков?

Даниил улыбался боярину Протасию и наместнику Петру одинаково приветливо, не выказывая предпочтения ни тому, ни другому. А спорщики ярились все больше, чтобы князь оценил их усердие и преданность.

Телохранители Семен и Леонтий Велины стояли возле княжеского кресла, ревниво прислушивались, нет ли в речах бояр умаления достоинства их господина. Но все было как подобает. Спорили бояре между собой, а к Даниилу обращались уважительно, даже лицом светлели.

Семен и Леонтий переглядывались, удовлетворенные.

Даниил беседовал с боярами до полудня, а потом отобедал и — спать. От бога так присуждено, все на Руси после обеда почивают: и зверь, и птица, и человек. Зачем ломать прадедовские обычаи?

А вечером снова был пир. На этот раз за хозяина был Петр Босоволков. А с концом пира и второму дню волочанского сидения — конец!

Тиун Федька Блюденный крутился юлой. Даже на пирах не был, хоть и звали. Освободил князя от всех забот. То скакал на бойкой лошадке к просеке, по которой волокли на круглых бревнах-катках лады, то возился с рогожами возле клади («не дай бог, дождичек!»), то отмеривал муку и солонину поваренным мужикам («сам не приглядишь — своруют!»).

Пока тиун хлопотал по хозяйству, серебряную казну стерегли телохранители князя. Алексей Бобоша, Порфилий Грех и Ларион Юла томились в душной подклети возле ларца, ругали Федьку последними словами.

К князю Даниилу Федька Блюденный забегал на самое малое время: доложить о делах, спросить совета. Но спрашивал больше из уважения, чем по действительной нужде. Сам все умел, все у него было в порядке: люди накормлены, поклажа увязана в тюки и отправлена на волокушах вслед за ладьями, всюду расставлены сторожа, а за самими сторожами, чтобы не спали, верные люди присматривали...

На волоке, при ладьях, много толклось разного народа, и каждый мечтал самолично известить князя о завершении дела, но первым прибежал с приятной вестью опять-таки Федька:

— Можно трогаться, княже. Лады в Язуе.

Даниил в который раз отметил, что с тиуном ему, кажется, повезло — расторопен...

Водный путь по Яузе был недлинным, верст тридцать. К вечеру ладьи добежали до устья. Яуза текла здесь в высоких берегах. Слева к реке подступали крутые холмы, а справа, за нешироким лугом, поднималась Гостиная гора, изрезанная оврагами. Желтая вода Яузы, вливаясь в Москву-реку, клубилась, как бурый дым пожара над торфяником. Свежий ветер гнал навстречу ладьям короткие злые волны.

Сотник Шемяка Горюн поднял над ладьей стяг Даниила Московского. Черное полотнище с шитым золотом Георгием Победоносцем, пронзающим копьём змея, развернулось и затрепетало на ветру. Змей на стяге извивался, как живой.

Ладьи медленно, торжественно поплыли вверх по Москве-реке, мимо заболоченного Васильевского луга, мимо торговых пристаней, возле которых стояли купеческие струги.

Звонко, ликуя, ударил колокол церкви Николы Мокрого, покровителя торговли. Стояла эта церковь возле самой реки, и звонарь первым заметил княжеский караван.

Протяжно, басовито откликнулись колокола кремлевских соборов. Город издали приветствовал своего нового владыку.

С реки Москва показалась Даниилу не единым городом, а беспорядочным скоплением деревень и малых сел, сдвинутых к берегу чьей-то могучей рукой.

Дворы стояли кучками — то десяток сразу, то два или три, а то и поодиночке, россыпью. А между ними луга, болота, овраги, березовые рощи.

Погуще стояли посадские дворы на возвышенности, примыкавшей к восточной стене Кремля. К Москве-реке посад спускался двумя языками — на Подоле под Боровицким холмом и возле пристаней, где была церковь Николы Мокрого. Туда протянулась от Кремля, пересекая весь посад, единственная большая улица, которая так и называлась — Великая.

Вся Москва умещалась между Москвой-рекой и Неглинной, на высоком мысу и у подножья мыса.

В Замоскворечье, даже против самого Кремля, домов уже не было. На пологом правом берегу расстилался Великий луг, упиравшийся дальним концом в леса. Оттуда, петляя между непросыхавшими болотинами, шла к наплавному мосту через Москву-реку проезжая Ордынская дорога. У моста одиноко стояла бревенчатая сторожка, убежище от дождя и холода караульным ратникам. Но люди в ней не жили, а только приходили на службу.

Не селились люди и по другую сторону Кремля, в Занеглименье, изрезанном бесчисленными ручьями и оврагами, заросшем колючими кустарниками и удивительной высоты — в рост человека — репейником. Москвичи называли эту невеселую местность Чертольем. Говорили, будто сам черт испакостил землю за речкой Неглинкой, чтобы не отдавать ее христианам...

Но все-таки Москва была городом!

Над спокойной полноводной рекой, над лугами и болотами, над невзрачными кровлями посадских изб господствовал Кремль. Стены

Кремля, рубленные из строевого соснового леса-кремлевника, опоясывали Боровицкий холм со всех сторон. Вдоль Москвы-реки и Неглинной они тянулись по кромке береговых обрывов, а на востоке, где место было ровное, — по насыпному валу в три человеческих роста. Во рву перед валом лениво плескалась черная вода. Стены венчались бревенчатыми заборами с бойницами и двускатной деревянной кровлей, которая прикрывала защитников города от вражеских стрел.

Две прорезные воротные башни были в Кремле. Одни ворота выводили на восток, к посадку и пристаням, другие — на запад, к устью Неглинной.

Грозен был Кремль в своей мощи и неизменности.

Первый град на Боровицком холме срубил в лето шесть тысяч шестьсот шестьдесят четвертое¹ князь Андрей Боголюбский. Сжег тот град в лето шесть тысяч шестьсот восемьдесят пятое² князь Глеб Рязанский. Но москвичи подняли Кремль из пепла, и простоял он до самого Батыева погрома³. Сожгли тогда Москву воины хана Батыея, и ветер разнес пепел по стылым январским полям. Но снова поднялся Кремль по образу и подобию прежнего, и стоял, темнея от времени и непогоды, — незабываемый, могучий, будто вросший в землю.

Вечным казался москвичам Кремль, как вечен был древний Боровицкий холм под ним,

¹ 1156 год.

² 1177 год.

³ 1238 год.

как вечна и неизбывна русская река, омы-
вавшая его подножие...

* * *

Кормчие повернули ладьи в устье Неглин-
ной, к парадным Боровицким воротам.

Празднично трезвонили колокола.

Московские ратники трубили в медные
трубы, стучали крепкими ладонями по крас-
ным щитам.

Шумела, колыхалась толпа, заполнившая
берег под кремлевской стеной.

А возле самой воды — златотканые ризы
духовенства, боярские шубы и высокие шапки,
дорогие кафтаны торговых гостей. Железным
идолом застыл московский воевода Илья
Кловыня, с головы до ног закованный в бое-
вую броню.

О воеводе Илье Кловыне шла молва, что
не князьям он служит, но только городу. Сме-
нялись великие князья, издавека владевшие
Москвой, а воевода оставался. Если требова-
ли от него войско для великокняжеского дела,
воевода упирался, сколько мог, лукавил, из-
ворачивался, старался отправить в поход са-
мую малость ратников, а остальных придер-
живал в Москве. «А ну как приступят к Мос-
кве враги? — отвечал он на все попреки. — Кто
город оборонять будет?» Случалось, что и гне-
вались на него прежние великие князья, и
опалой грозили. Однако руки, как видно, не
доходили у них до упрямого воеводы. Моск-
ва от стольного Владимира далеко, за мно-
гими лесами и реками... Казалось, навечно
прирос воевода Кловыня к кремлевским



стенам и башням, не оторвешь! Лишь в обережении Москвы видел воевода свое предназначение, и сам не заглядывал дальше, чем видно было с гребня кремлевской стены...

На приближавшегося Даниила воевода смотрел испытующе, как будто прикидывал про себя, кем будет этот князь для Москвы, подлинным хозяином или гостем мимоезжим?..

Перерезая толпу красной полосой, от пристани к воротной башне протянулась узкая суконная дорожка. Сукно кое-где потемнело от влажности весенней земли, но лежало нетронутым, неприкосновенным. Этот почетный путь только для князя!

И князь Даниил пошел по красному сукну.

Пошел сквозь оглушительный колокольный звон, рев труб, слитный гул толпы, сквозь сотни глаз: радостных, настороженных, гордых, заискивающих, восхищенных, насмешливых, молящих.

Шел, низко опустив голову, видя перед собой только красное сукно дорожки, неторопливо ползущее навстречу, и ему казалось, что этому красному пути не будет конца.

Шел, испуганный и радостный одновременно.

«Князь Московский! Князь!! Князь!!!»

Даниил шагнул, как в омут, в прохладный полумрак воротного проема, перевел дух.

А потом снова, до самого крыльца княжеских хором, был тот же оглушительный

рев толпы, чередование лиц, пестрота одежд, — и глаза, глаза, глаза, устремленные только на него, нового владельца Москвы.

А потом была парадная горница княжеского дворца. Тусклый сумеречный свет, едва пробивавшийся сквозь затянутые слюдой оконца. Душный чад восковых свечей. Мерцающие блики на кольчугах и шлемах дружинников. Жаркий шепот Протасия Воронца и Петра Босоволкова, чему-то наставлявших, о чем-то предупреждавших. И бесконечная вереница незнакомых лиц, сливавшихся в непрерывную полосу.

Бояре московские, бояре из волостей, воеводы, сотники и десятники дружины, тиуны, вирники, мытники, сокольники, ключники, бортные мастера, медовары, дворовая челядь...

Боже, скоро ли конец?!

Кружилась голова, муть застилала глаза, затекла протянутая рука, которую почтительно целовали новые слуги...

Но нельзя уйти, нельзя скрыться в тишине, в желанном покое лóжницы, где холопы уже расстелили прохладные простыни и взбили подушки. Нельзя, потому что он — князь, и не себе отныне принадлежит, а княжеству, вот этим всем людям, которые почтительно склоняются перед ним...

Иссяк людской поток.

Даниил отпустил боярина Протасия и наместника Петра Босоволкова, отложив на утро остальные разговоры. Старый ключник, служивший при дворце со времени его строителя, мимолетного московского владельца Ми-

хаила Хоробрита¹, поднял дрожавшей рукой подсвечник и повел князя по узким, запутанным переходам. Позади тяжело топали телохранители.

Неслышно закрылась дверь ложницы.

Комнатный холоп Тиша приблизился к князю, осторожно стянул с его плеч шуршавший золотым шитьем кафтан.

— Выйди, Тиша! Побудь за дверью! — неожиданно сказал ключник.

Даниил недоуменно посмотрел на старика, принявшего вдруг значительный, строгий вид.

Едва холоп скрылся за дверью, ключник зашептал:

— Не гневайся, княже, но се могу показать лишь тебе, наедине... Воевода Кловыня и тот сего не ведает...

Ключник с усилием повернул большой деревянный крест, прибитый к стене возле изголовья княжеской постели. Отворилась низенькая дверца, ранее незаметная в дощатой обшивке стены. Из темноты пахнуло холодом, сыростью, тленьем.

Ключник приблизил свечу.

¹ Князь Михайло, нарицаемый Хоробрит — одна из самых загадочных личностей русского Средневековья. Тверской летописец называл его московским князем. Возможно, Михаил получил в удел Москву от своего отца, великого князя Ярослава Всеволодовича, в середине 40-х годов XIII века. После смерти великого князя Ярослава он «согна с великого княженья Владимирскаго дядю своего великого князя Святослава Всеволодовича», и в 1248 году «сам сяде на великом княжении в Володимери», однако вскоре погиб в битве с литовцами. Больше о князе Михаиле Хоробрите ничего не известно.

Куда-то вниз, в темноту, вели крутые скользкие ступени...

— Се потайной ход к дружинной избе и за стену. Запомни, княже, на крайний случай.

— Запомню,— послушно сказал Даниил.

Ключник перекрестился — истово, с явным облегчением:

— Слава богу, снял с души тяжесть... Теперь и помирать можно... Прости, княже, если что не так сказал...

Даниилу стало страшно.

Черный провал потайного хода вдруг напомнил об опасностях, которые подстерегают его, которые так же неотделимы от его нового бытия, как княжеские почести и людское преклонение...

Даниил кивком головы удалил ключника, подошел к оконцу, сдвинул вбок оконницу с кусочками слюды между свинцовыми переплетами.

За оконцем чернела стена Кремля, а над стеной неслышно плыли тяжелые зловещие тучи. Ни огонька нигде, ни голоса, будто вымерла Москва.

За дверью ворочались, устраиваясь на ночь, телохранители.

Затаив дыхание, прижался к косяку комнатный холоп.

А Даниил все стоял у оконца, и жизнь впереди казалась ему похожей на этот черный потайной ход. Найдет ли он из него выход к свету, к солнцу?..

Глава 1

„Дюденева рать“

1

Звенигородский мужик Якушка Балагур проснулся от собачьего лая. Посапывая, сполз с полатей на дощатый пол, выстывший за ночь чуть не до инея, привычно перекрестился на красный угол.

За узким оконцем, затянутым бычьим пузырем,—непроглядная темень.

Пес на дворе лаял непрерывно, взახлеб.

Якушка привычно подумал: «Коли в крещение собака сильно лает, много будет в лесу зверя и птицы!» Про такую примету говорили старики, а в приметы Якушка верил крепко, как верит истинный пахарь-страдник. Приметы, как и все на земле, от бога...

Шаркая подошвами, Якушка подошел к кадушке, которая стояла возле устья печи, нашарил в темноте деревянный ковшичек, напил-ся, ополоснул глаза ледяной водой,—и только тогда проснулся окончательно. Вспомнил, что сам же вчера наказывал соседу, худому бобылю Буне, разбудить до света—вместе ехать на торг в Москву.

Сосед Буня был беднее бедного, а потому—послушен. Про таких, как Буня, пословица в народе сложена: «Ни кола, ни двора, ни села, ни мила живота, ни образа помолиться, ни хлеба, чем подавиться, ни ножа, чем зарезаться!» Голь перекатная!

А у самого Якушки хозяйство подходящее,

справное. Изба рублена просторно, из нового леса. На дворе рубленая же клеть, гумно. На отшибе, у речки Сторожки — мовница¹. Лошадка есть пахотная с жеребчиком, добрая корова, разная мелкая животи́на: две свиньи, коза, овцы. Жилось ничего себе — сытно. Осенью старый хлеб заходил за новый. В праздники ели мясо. Грех жаловаться!

Ходил Якушка не в лаптях, как многие, а в кожаных чеботах, зипун перепоясывал не веревкой, а покупным ремешком с медной пряжкой-фитой. Тиун ставил его в пример другим и называл крепким мужчи́ном.

Положенные оброки Якушка привозил сполна, в самый покров², как исстари заведено. А случалось, и раньше срока привозил, да еще с прибавкою. Тиуну — отдельное почётство: мясца, меду, рыбину или беличью шкурку. Убыток для хозяйства невеликий, а облегчение от господских тягот выходило немалое. Якушка уже и помнить забыл, когда в последний раз назначал его тиун в извоз, так давно это было. Другие мужики надрывали лошадей на лесных дорогах, а Якушка — дома, при своем деле...

Снова собачий лай — хриплый, отчаянный. Так лают, захлебываясь от злости и бессилия, дворовые псы, если в ворота стучится чужой, а хозяин медлит, не выходит из избы.

Якушка с досадой толкнул тяжелую, сбитую из сосновых плах дверь, прикрикнул на собаку:

¹ Мовница — баня.

² День завершения всех сельскохозяйственных работ, обычный срок уплаты оброков и государственных налогов.

— Кыш, окаянная! Погибели на тебя нет!
И на соседа прикрикнул, неудовольствие свое показал:

— Чего стучишь, непутевый? Обождать не можешь?

А мог бы и покруче чего сказать — Буня стерпит, весь в его руках. Не сосед, а захребетник, его милостями жив. Своей лошади у Буни нет, Якушкину на время страды выпрашивает. И сохи нет у Буни, и хлебушка самая малость, едва до Аксиньи-полузимницы¹ дотянуть. Якушка когда Буню подкормит, а когда и нет. На то его, Якушки, добрая воля...

— Ожидаю, Якуш Кузьмич, ожидаю,— доносился из-за забора робкий голос Буни.— Сам же велел до света разбудить...

— Ну, разбудил, и жди,— сказал Якушка, но уже добрее, мягче. По отчеству его величали только домашние, жена Евдокия и дети, а из чужих — один Буня. Хоть и мизинный человек Буня, но величание слушать было приятно.

Якушка притворил дверь, зябко поеживаясь, натянул овчинный тулупчик. Евдокия тоже встала, запалила лучину в железном светце, поставила на стол горшок со вчерашней кашей, обильно полила молоком. Якушка присел к столу, торопливо похлебал, отложил деревянную ложку.

— Ну, с богом!

Нахлобучил лохматую заячью шапку, пошел к воротам — отворять.

¹ Аксинья-полузимница, Аксинья-полухлебница — 24 января. Считалось, что с Аксиньи-полузимницы остается половина срока до нового хлеба.

Заждавшийся Буня проворно запряг лошадь. Поклажа на санях была увязана загодя, еще с вечера.

— Ну, милая! Ну, резвая! — запричитал Буня, взмахивая кнутом.

Лошадка с усилием стронула полозья, примерзшие за ночь к снегу, и вынесла сани за ворота.

Якушка привычно огляделся по сторонам.

Заросшие сосновым лесом холмы, которые замкнули в кольцо деревню Дютьково, были окутаны морозным сумраком, но небо над ними уже светлело.

Все вокруг было его, Якушкино: и двор, обнесенный жердевым забором от лесного зверя и лихого человека, и пашня, что ныне зачоченела под снегом, и всякие уголья, куда соха его, коса и топор ходили...

Здесь, среди покрытых лесом холмов, проходила вся жизнь Якушки Балагура. Выезжал он отсюда только при крайней необходимости: на боярский двор с оброками, на торг за ремесленным изделием да на войну, если — не приведи бог! — звенигородский воевода собирал мужиков в ополчение.

Дютьково лежало точно бы и недалеко от людных мест: полторы версты до торговой Москвы-реки или три версты до града Звенигорода. Но то были версты лесных буреломов, глубоких оврагов, запутанных звериных тропинок. Летом к Дютькову с трудом пробиралась вьючная лошадь, а весной и поздней осенью даже пешему пройти было трудно. Только зимой дорога становилась доступнее: по льду речки Сторожки, которая петляла у подножия холмов и выводила прямо к горе Сто-

рѡже, поднимавшейся над пойменными лугами Москвы-реки.

Якушка любил говорить домашним, что до него, Якушки, нет дела никому, а ему и подавно никто не нужен. Так было привычно. И нынешняя зима, от сотворения мира шесть тысяч восемьсот первая¹, отличалась от прежних Якушкиных зим разве что дальней поездкой на московский торг...

Солнце уже стояло высоко, когда сани, пропетляв по узкой речке под тяжелыми еловыми лапами, выкатились на простор.

Возле низенькой, утонувшей в сугробах избушки, которая притулилась к берегу Москвы-реки, Якушка велел остановиться. Здесь проживал его давний знакомец, рыбныйловец Клим Блица. Не забежать к нему, отъезжая на торг, было неразумно. Хоть и подневольный человек Клим Блица, не от себя ловил — от боярина, но рыба у него была всегда. То осетра закопает в снег Клим, то стерлядку, то щуку, если большая, старая. Попробуй уследи за ним! Отдавал Клим утаенную от боярина рыбу проезжим людям задешево, о цене не спорил — не своя же...

Якушка Балагур кинул Буне вожжи, соскочил с саней в сугроб. От берега к крыльцу даже тропинка не протоптана. Видно, Клим безвылазно лежал в избе, отсыпался. «Тиуна на тебя нет, на лодыря! — бормотал Якушка, дергая дверь. — Полѣдный лов самый добычливый — хошь зимним езом², хошь неводом

¹ 1293 год.

² Ез — частокол, который рыболовы забивали поперек реки.

в проруби, хошь на уду. Всяко идет рыба. А этот спит без просыпу...»

Дверь не поддавалась. Якушка в сердцах забарабанил кулаком.

Наконец в избе послышалось шевеление, что-то с грохотом упало. Звякнул засов, и наружу высунулась лохматая голова Клима.

Якушка пошептался с рыболовом, тот согласно закивал, вышел во двор и побежал, придерживая руками полы накинутой шубейки, за избу. Разбросал ногами сугроб, крикнул Якушке:

— Вот она, рыба, бери! А крючки и блесну, как сговорились, на обратной дороге завезешь...

Крикнул и, не дожидаясь, пока Якушка откапает рыбу из-под снега, затрусил обратно к избе. На пороге Клим споткнулся, шубейка соскользнула с плеч, открыв серое исподнее белье.

«Не иначе, опять спать завалится, леший!»— с завистью подумал Якушка.

Рыбы на этот раз Клим Блица припрятал не так уж чтобы много, но рыба была добрая: два осетра, крупные окуни. В речке Сторожке, возле Якушкиного двора, тоже рыбы немало, но то была рыба простая, дешевая: налим, плотица, подлещик, пескарь. Якушка вез на продажу два мешка своей сушеной летошной рыбы, кадушку соленой лещёвины, но много ли за такую рыбу возьмешь? Мед еще вез, беличьи шкурки, ржи половник с четвертью¹, масла Евдокия набила горшок. И еще кое-что

¹ Древнерусские меры сыпучих тел: половник — 6—7 пудов, четверть — 3,5 пуда.

прихватил по мелочи, из хозяйства. Но сам понимал — мало. Покупки были задуманы значительные. Шибко нахваливали мужики двузубую соху, новгородскую выдумку. Давно собирался ее купить Якушка вместо старой сошки-черкуши, и вот наконец собрался. Топоры нужны, ножи, горшки новые глиняные, иголки бабе. Старшенькая — Маша — скоро заневестится, колечко ей с камешком купить надобно, ожерелье, подвески семилопастные, как мать носит. Соль нужна, хмель для пива. Да мало ли что еще...

Укладывая осетров на дно саней, Якушка прикидывал: «Теперича хватит. Осетр — рыба дорогая, господская. Повезло, повезло...»

* * *

По Москве-реке ехать было весело, привольно. Сани легко скользили по ледовой дороге. То и дело навстречу попадались возы с мужиками, с бабами. Резво пробегали верховые.

Снег ослепительно блестел на солнце, и даже глухой бор перед Звенигородом не казался мрачным, как в непогожие дни. Желто-красные стволы сосен стояли над высоким берегом, как новый частокол.

Под городским холмом Якушка еще раз остановился. На льду Москвы-реки, у проруби, сгрудился десяток саней. Лошади наклоняли головы, сясь дотянуться до клочков сена, скрипели оглоблями. Возле саней стояли знакомые мужики из пригородных деревень, неторопливо беседовали, поджидая припоздавших: на московский торг из Звенигоро-

да ездили обозом, а не в одиночку. Дорога неблизкая, опасная, через чужие волости...

Подошел воеводский тиун Износок Губастый. Сунулся было к саням, но мужики загалдели, стали напирать на него грудью. Мыт¹ со своих братьев не полагалось. Знали это мужики, знал и тиун. Но мужики знали и то, что надобно хоть что-нибудь дать воеводскому человеку, иначе тому обидно. И давали: кто ржаной калач, кто мерзлую рыбину, кто яичко. Миром-то оно лучше...

Дальше ехали большим обозом, неторопливо, с разговорами. Допытывались у встречаемых, не слышно ли на дороге про лихих людей, про ордынских послов.

Наткнуться на дороге на ордынцев — беда! Одно название, что послы, а на деле чистые разбойники. Набросятся со свистом, с гвалдом, с визгом, схватят с саней все, что под руку попадет, исполосуют бичами. Опомниться не успеешь, а уже — голый. И пожаловаться некому, князья и те над татарами не властны...

Об ордынских злых обычаях Якушка и сам мог бы рассказать немало. Повидал он татар в рязанской земле, откуда на Москву убежал. Давно это было, второй десяток лет Якушка на новом месте проживает, а не забыл! Поэтому посмеивался Якушка, когда слышал нелепые рассужденья, что татары-де люди дикие, не разбирают, где свое, а где чужое. «Очень даже разбирают. Свое держат крепко, насмерть. А вот что чужое за свое считают, так это верно: хватают, до чего рука дотянется...»

¹ Мыт — торговая пошлина за провоз товара.

Новостей по дороге звенигородцы слышали немало, но были эти новости какие-то непонятные, противоречивые, и не понять, к добру они или к худу.

...Великий князь Дмитрий Александрович опять свáрится с братом своим Андреем Городецким, и Андрей будто бы наводит на него рать татарскую, как до того делал не единожды...

...Люди из Переяславля, отчины Дмитрия, от татарской рати уже розно бегут, но на Москве нынче вроде бы спокойно. Князь Даниил ополчение не созывает, посадских людей в городе в осаду не салит, а беглых переяславцев провожает мимо Москвы, к Твери и Волоку. Надеется, видно, Даниил, что ордынцы московскую землю обойдут стороною...

...Торг на Москве нынче неодинаков: на что дорогой, а на что дешевле дешевого. Люди больше съестные припасы спрашивают, за хлебушек последнее с себя снимают, лишь бы прокормиться...

Якушка слушал рассказы проезжих людей, прикидывал.

Выходило, что и ехать дальше вроде бы опасно, а не ехать нельзя. Когда еще такой случай выпадет, чтобы свой товар впереди всех шел? Да и мужики уговаривали ехать. «Князь Данила не бережется же. Может, ярлык получил от царя ордынского, а может, узнал, что татары в другое место идут...»

Сообща решили: «Ехать!»

* * *

В Москве Якушка Балагур не был давненько, года три уже.

Изрядно за это время умножились деревни

по берегам Москвы-реки, разросся посад. Посадские дворы уже перешагнули топкий Васильевский луг, вплотную придвинулись к Яузе.

К Даниловскому монастырю, основанному московским князем в честь тезки своего Даниила Столпника, прибавился в прошлом году еще один монастырь — Богоявленский. Стоял тот монастырь не за городом, как Даниловский, а в самом посаде, на бойком и веселом месте: и торговая площадь рядом, и пристани, и Великая Владимирская дорога. Восле красных монастырских ворот постоянно толпился народ. Многие бояре ходили теперь к заутрене не в кремлевские соборы, а в новую Богоявленскую церковь: считали монастырь своим. Да так оно и было. Строили монастырь на боярские серебряные вклады, боярскими же присланными работниками. И игумен Стефан был из старых московских вотчинников. А Даниловский монастырь — княжеский, строгий. Хозяйствовал там княжеский духовник Геронтий, который носил высокий сан архимандрита и держался с людьми недоступно. Побавлялись его на Москве.

Якушке Балагуру монастырские пышные храмы не подходили ни по чину, ни по достатку. Если случалась крайняя нужда, пришлые мужики заказывали службу в малых посадских церквушках. Таких рубленных из сосны церквушек было много в Москве, и назывались они весело, душевно: «Спас на Бору», «Никола на курьих ножках», «Воздвижение под сосенками». За малую мзду поп в простой суконной рясе правил службу о здравии или за упокой души. При посадских церквушках

даже нищие, калеки и прочие болящие и юродствующие люди были тихими, ненадоедливыми, ломтю хлеба — и то рады...

Конечно, поглядеть на новый богатый монастырь каждому любопытно, но Якушка решил отложить до следующего раза: больно длинный получался крюк. По зимнему времени московский торг собирался не на торговой площади, а на льду Москвы-реки, под Боровицким холмом.

Между санями с товаром хлопотали княжеские мытники, собирали с приезжих тамгу, мыт, весчее, московскую костку¹. Мужики только кряхтели, вытаскивая из саней рыбу, шкурки, заранее отсыпанное в малые берестяные коробки зерно. Дорога ты, московская пошлина!

Мелкую рыбу, рожь и прочее домашнее Якушка Балагур расторговал быстро. Встречные люди не обманули: все съестное на торгу хватало из рук.

За четверть ржи Якушка выторговал у истошавшего переяславца почти новую двузубую соху. Постоял-постоял переяславец возле Якушкиных саней, посмотрел тоскующими глазами, как тот отсыпает рожь нетерпеливым покупателям, потом безнадежно махнул рукой, снял с своих саней соху и бросил под ноги Якушке, прямо на затоптанный лед. Даже попрекнуть за прижимистость не решился, бедолага. Якушка виновато отвернулся, но соху взял.

¹ Тамга — пошлина с цены на товар; весчее — пошлина за взвешивание товара; московская костка — пошлина на городской заставе с воза и с человека; мытник — сборщик торговых пошлин.

Потом какая-то жонка за масло, пару соленых лещей и ковригу хлеба сняла с себя все, что было ценного: ожерелье из стеклянных бусинок, серебряный перстенок, литой браслет со светлым камнем.

Когда она побрела, прижимая съестное обеими руками к груди, а навстречу ей с саней вытянули головки печальные ребятишки,— Якушке стало не по себе. Он покидал в рогожку десяток крупных ре́пин, связку сушеной рыбы; поколебавшись, добавил толстый ломоть хлеба, облил его медом.

Женщина все еще шла к своим саням, осторожно переступая негнушимися ногами. Якушка обогнал ее, сунул узелок ребятишкам.

Возвратившись к саням, объяснил Буне свою неожиданную доброту:

— Чай, не нехристи мы... Чужое горе понимаем...

Буня затряс заиндеветшей бородкой, соглашаясь:

— По-божески поступили, Якуш Кузьмич, по-божески...

Негаданное затруднение вышло у Якушки с самым дорогим его товаром — морожеными осетрами. Давно уже были увязаны рогожами и уложены в сани ремесленные поделки, которые выменял Якушка. Холщовый мешочек, надежно пригревшийся за пазухой, был почти полон шиферными пряслицами, которые ходили на торгу вместо разменной монеты — серебра у людей было мало, утекало серебро в Орду данями и прочими тягостями. Пора было собираться домой. А покупателя на осетров все не находилось.

Осетр — рыба боярская, простому челове-

ку она ни к чему. Простые люди искали на торгу хлеб насущный, а не усладу, проходили мимо осетров равнодушно.

Якушка забеспокоился.

Другие звенигородские мужики уже кончили торговлю, торопили. А на торгу, как назло, не было видно ни добрых людей, ни их поваренной челяди — одна голь перекатная, мужики-зипунники.

Поначалу Якушка за торговыми хлопотами не заметил этого, но теперь, нарочно выискивая, кому бы предложить осетров, встревожился. «Куда подевались денежные люди? Почему на торгу лишь чернь толчется?»

Спросить было не у кого. Посадский гончар, торговавший Якушке глиняные горшки, сказал только, что ворота Кремля второй день на засовах. Но почему такое, гончар не знал. И другие городские люди, с кем заговаривал Якушка, тоже не знали. Одно ясно было — без причины днем ворота не закроют. В такое ли тревожное время медлить с отъездом?!

Выручили Якушку братья Беспута и Распута Кирьяновы, известные на Москве бражники и объедалы. Отец их, торговый человек Кирьян, оставил в наследство непутевым сыновьям богатую домину, лавку с красным товаром и, как утверждали люди, кубышку с серебром. Правду говорили или нет — неизвестно, но гуляли братья шибко, без пересыху; видно, и впрямь кубышка досталась им не порожней...

Сначала к Якушкиным саням подошел старший — Беспута. Встал, покачиваясь, уставился красными глазами на осетров. Одет был Беспута богато, но неопрятно, будто тас-

кали купеческого сына по улице волоком: шуба нараспашку, петли на кафтане порваны, цветные сафьяновые сапоги измазаны дегтем, в глазах — хмельная муть. Потыкал палкой в осетровый бок, спросил дурашливо:

— Почем ерши?

Якушка оживился, застрочил бойкой скороговоркой:

— Осетры это! Осетры, не ерши! Княжеская рыба, боярская! Одного жиру с них сколько натопится! Купи осетров, добрый человек!

— А я говорю, ерши! — с пьяным упрямством повторил Беспута. — Ерши!

Подошел младший брат — Распута. Этот был потрезвее. Сказал примирительно:

— Не позорь купца. Хоть семяжный, но все ж таки купец, раз торгует. Нравится товар — бери, а не нравится — пошли дальше. Хвалить чужой товар не голится.

— Хочу ершей! — впирался Беспута.

Распута с досадой плюнул, нашарил за пазухой кисет, вытащил обрубок серебряной гривны.

У Якушки глаза загорелись: порядочный был обрубок, тяжелый. Вдруг отдаст?!

Но Распута, повертев серебро перед глазами, кинул обратно в кисет: видно, показалось, что много. Долго шевелил в кисете негнушавшимися от мороза пальцами, натушно сопел и наконец выкинул Якушке другой обрубок серебра — поменьше.

Якушка осторожно скосил глаза: не видел ли кто? Серебро по нынешним временам большая редкость, — не дай бог, заметят лихие люди...

Но вокруг все были заняты своими делами, на Якушкину удачную торговлю внимания не обратили.

«Вот повезло! Вот повезло!» — ликующе шептал Якушка.

А братья Кирьяновы уже шли прочь от Якушкиных саней, обнявшись и поскальзываясь на льду. Сопровождавший их холоп равнодушно сгреб осетров в корзину и тоже отошел.

Можно было возвращаться домой.

Кузнец Иван Недосека, которого звенигородские мужики признавали в обозе за старшего, опять окликнул Якушку:

— Не расторговался еще? Ехать пора...

— Едем, едем! — заторопился Якушка.

Застоявшиеся лошадки легко понесли сани по речному льду.

Удалялся, затихал за спиной разноголосый гомон торгога.

Якушка оглянулся.

Люди на торгу уже казались крошечными, копошились, как черные муравьи. И Кремль позади тоже казался черным, угловатым, будто прочерченным углем на бересте. Словно лезвие огромного топора, он врубился в заснеженную равнину, отделив Замоскворечье от Занеглименья.

А вскоре поворот реки скрыл от взгляда и торг, и город. Прощай, Москва!

Обоз обгонял переяславских беглецов, которые медленно брели за своими саними с домашним скарбом. Мужики, провожая глазами понурых, оборванных переяславцев, невольно торопили лошадей. Не очень верилось, что грозная татарская волна дохлестнет до

звенигородских лесных мест, но на сердце все равно было тревожно. Домой, домой! Дома и стены помогают!..

* * *

Звенигород встретил обоз предвечерней тишиной и безлюдьем. Кто должен был отъехать из города — уже отъехали, а кто возвращался — были уже дома. Да и какие поездки в нынешнее недоброе время? Разве что при крайней необходимости...

Под городским холмом обоз рассыпался.

До устья речки Сторожки Якушка Балагур и Буня еще ехали с оставшимися попутчиками, а затем, после поворота к Дютькову, в привычном одиночестве.

После вчерашнего снегопада в Дютьково никто не ходил: на Сторожке не было следов. Якушка и Буня пробирались по снежной целине, то и дело соскакивая с саней и подталкивая их плечами.

Обтирая рукавом пот со лба, Якушка приговаривал:

— Ну и ладно! Ну и добро! Тяжела дороженька, да успокоительна! Ни к чему нам приезжие люди, когда хозяина нет на дворе!..

С дороги Якушка отсыпался до полудня, потом неторопливо пообедал, не нарушая трапезу праздными разговорами, потом опять завалился спать, и только к вечеру разложил покупки. Надеясь домашних подарками, он долго и подробно рассказывал о дороге, о торге, о людских тревогах в Москве.

Жена Евдокия изумленно ахала, прижимала ладони к щекам. Сама она не выезжала дальше Звенигорода, и Якушкино путешествие

в Москву казалось ей делом необычным и опасным.

А потом жизнь Якушки опять вошла в привычный дневной оборот, доверху заполненный бесконечными домашними заботами, потекла ровно и бездумно, как раньше. Казалось, холмы и сосновые леса, окружавшие Дютьково, надежно отгородили Якушкин двор от тревог и беспокойной маеты большого мира.

2

Всполошенной черной тучей сорвались с кровель вороны и закружились, отчаянно каркая, над градом Звенигородом. Соборный звонарь Пров Звонило раскачивал чугунный язык большого колокола.

«Бум-м! Бум-м! Бум-м!»

Возле звонаря суетился воеводский тиун Износок Губастый, путался в веревках малых колоколов, кричал под руку:

— Громче! Набатным звоном! Чтоб в дальних деревнях слышно было! Татары ведь идут, татары!

И катился набатный колокольный звон над полями за Москвой-рекой, над сосновыми лесами, над покатыми спинами холмов, над заснувшими подо льдом озерами.

Катился тревожный набатный звон над звенигородскими селами, над деревнями, над дворами рыбаков, бортников и звероловов. И везде, куда он доносился, люди поспешно разоидали топоры и рогатины, засовывали за пояс длинные охотничьи ножи, подхватывали котомки с харчами и выбегали на тропинки, которые с разных концов звенигородской волости вели к городу.

Татарская рать была страшнее, чем неистовый лесной пожар.

Страшнее, чем черный вихрь, ломающий деревья и срывающий кровли с изб.

Страшнее, чем моровая язва, которая тихой смертью подкрадывается к деревням, перешагивая по пути через скорчившиеся, окоченевшие трупы.

Татары не щадили никого: ни больших людей, ни малых, ни мужей-ратников, ни ребяташек с жонками, ни безгласной скотины. Коровам и лошадям степняки перерезали горло кривыми ножами и бросали туши на дорогах, если не могли угнать с собой...

В Дютькове, за холмами, колокольный звон был почти неслышен. Не набат донесся до Якушкиного двора, а так — тревожный неясный гул, от которого сжалось сердце.

Якушка отбросил топор, присел на бревна: пользуясь свободным зимним временем, хозяйственный мужик ошкуривал жерди для нового скотного двора. Прислушался.

Только ветер посвистывал в вершинах сосен.

«Неужто почудилось?»

Вдребезги разбивая робкую Якушкину надежду, ударили билами по железу караульные ратники на близлежащей горе Стороже.

Сомнений не оставалось: это был набат!

Поскальзываясь на обледеневшей тропинке, подбежал бобыль Буня — расхлыстанный, обезумевший от страха. Едва выговорил трясущимися губами:

— Беда, Якуш Кузьмич! Воевода людей сзывает!

Непонятно почему, но жалкий, беспомощ-

ный страх Буни успокоил Якушку. Он почувствовал привычное превосходство над соседом, почувствовал невозможность уподобления ему, растерянному и слабому, и это сразу вернуло Якушке уверенность в себе, в своей способности выпутаться из беды, тяжести которой Якушка еще не знал, как не знал и того, затронет ли его вообще эта беда или пройдет стороной. После бегства из Рязани с Якушкой не случалось ничего страшного и непоправимого. Может, пронесет и на этот раз...

Но то, что в Звенигород идти все равно придется, Якушка Балагур знал. Нагрянут ли татары, о которых говорили люди в последние дни, — неизвестно, но то, что от воеводы Ильи Кловыни не уберечься в случае послушания — это наверняка. Крут был звенигородский воевода, забывчив. Приказания его в Звенигороде исполнялись неукоснительно. «Один я вам и князь, и отец, и судьба!» — любил повторять воевода, и эти слова крепко запомнились всем, кому пришлось иметь с ним дело. Кто умом запомнил, кто напоминанием доброхотов, а кто и изодранной батогами спиной — немало таких накопилось с той поры, как князь Даниил Александрович за какую-то вину отослал воеводу из Москвы в Звенигород. Не далее как прошлым летом воевода Илья Кловыня приказал вот так же бить в набат, хотя рати и не было никакой. Самолично встречал и пересчитывал сбежавшихся в город мужиков-ополченцев. Кто схоронился тогда от набата — сам был не рад. Воеводские холопы ободрали батогами нётчикам спины до костей, чтоб другим неповадно было ходить в послушниках...

И Якушка засобирався.

Его недаром считали хозяйственным мужиком. Не только для дома у Якушки было припасено все, что надобно, но и для ратного дела.

Было у Якушки копые с острым железным наконечником, который Евдокия для сохранности смазывала нутряным бараньим салом.

Была секира с широким легким лезвием, удобная для боя, а не только для лесной подсеки, как обычные мужицкие топоры.

Был колпак из толстого войлока, в который для надежности были вшиты железные полоски.

Кольчужка даже была. Выменял ее Якушка задешево у проезжих людей. Не то чтобы совсем новой оказалась кольчужка, но и не рваной вконец: прикрывала грудь, спину, плечи, правую — для сечи наиглавнейшую — руку. Якушка собирався нарастить у кузнеца Ивана Недосеки и левый, оборванный, рукав кольчуги, но так и не собрался. Кузнец просил за работу дорого. Да и то сказать: в мирное время кольчуга для мужика — вещь бесполезная, а от войны люди в безопасной звенигородской земле поотвыкли.

Мог бы Якушка и воинский лук себе завести, но для лука нужно было большое умение. Якушка же был землепашец, а не охотник, не дружинник, которого сызмалетства приучали метать стрелы...

Собираясь в город по набату, звенигородские мужики распоряжались семьей и пожитками по-разному. Случалось, забирали домашних с собой, вместе садились в осаду, загоняли за городскую стену даже животину. Но так

делали люди из ближних деревень, со светлых ополий. Чаше же мужики в лесах прятали семьи, в оврагах, в охотничьих избушках за болотами, а то и на своем дворе оставляли, если двор был в укромном месте. Много было таких мест в звенигородских лесах!

Лес для русского человека защита от врагов. Так считали люди, и Якушка тоже считал, что лесные чащи да непролазные снега укроют от татар надежнее, чем городские стены. Города-то татары уже научились брать приступом, а лес несокрушим, в лес конный татарин не ходок...

«Евдокии с ребятишками лучше рать в Дютькове пересидеть,—размышлял Якушка Балагур.—Зачем татарам соваться в этакую глухомань? Да и не найти им Дютькова. Дорогу сюда лишь местный человек показать может, но такого опасаться вроде бы не приходится. Доброжелателей у татар в звенигородской земле не было и не будет...»

На всякий случай Якушка решил оставить с семьей бобыля Буню. Прибрел Буня в Дютьково неизвестно, воеводский тиун еще не успел взять его на заметку, никто в городе бобыля не хватится. Ненадежный мужичонка Буня, слабосильный да робкий, но все-таки подмога бабе в случае чего...

* * *

В Звенигород Якушка Балагур побежал на лыжах через лес, поперек оврагов, спускавшихся к Москве-реке, по самым глухим местам, куда в зимнее время не забредал никто, кроме лесного зверья. Конечно, по льду речки Сторожки идти было не в пример легче,

но зачем было Якушке оставлять лыжный след к своему двору? Безопаснее в обход, а лишние версты не в тягость...

Из леса Якушка Балагур выскользнул прямо к подножию городского холма и остановился, удивленный непривычным многолюдством у Звенигорода. Особенно много было людей на дороге, которая поднималась по склону к воротной башне, и у прорубей на Москве-реке. Люди толпами валили к городу с ведрами и бадьями, везли на санях деревянные бочки с водой.

Звенигородский холм быстро покрывался ледяной броней от подножия до рубленых деревянных стен и башен, отсвечивал на солнце, будто литой железный шлем,— не забраться! Горожане плескали воду и на стены, и на кровли, чтобы татарские горючие стрелы не причинили пожара.

Якушка закопал лыжи в снег, сделал на сосне затес для памяти и пошел по скользкой дороге к городским воротам. В воротах стояли дружинники в полном боевом доспехе, с копьями. Прибывавших встречал воеводский тиун Износок Губастый, окликал знакомых по имени (а знал он, считай, всю округу!), делал зарубку на сосновой дощечке— для числа, показывал, кому куда идти дальше.

Держался тиун заносчиво, неприступно. Гордился, видно, что доверено ему распоряжаться жизнью и смертью мужиков: от того, куда поставлен человек в осаде, на опасное место или на тихое, зависело многое, аставлял людей он, тиун...

С Якушкой Балагуром тиун обошелся по-доброму, место ему назначил безопасное— на

стене, которая выходила к Москве-реке. Обрыв там был особенно высоким и крутым.

«Не забыл, видно, мои прошлые поминки!»—удовлетворенно подумал Якушка.

— И знакомцы твои там,—напутствовал тиун.— Среди своих будешь...

За городскими стенами тоже было многолюдно, шумно. Неширокая площадь между собором и воеводским двором до краев заполнена санями: мужики из деревень, не успевшие занять углы в избах, остановились здесь табором. Ржали лошади, нутужно мычали недоенные коровы, суежилась под ногами мелкая скотина. К небу поднимались дымки костров. День выдался студеный, и люди жались к к огню.

У крыльца воеводской избы редкой цепочкой стояли дружинники. Якушка отметил, что дружинники были не свои, не звенигородские: лица незнакомые, на овальных щитах намаlevан московский герб.

«Может, и князь Даниил Александрович здесь?»

Якушка поискал глазами, кого бы спросить, но потом передумал. Дело это не его, не Якушкино. Ему надобно спешить, куда указано, а не разговорами время занимать! И Якушка, не задерживаясь на площади, зашагал по узкому проходу между городской стеной и подклетьями воеводского двора.

Возле угловой башни, загораживая окольчуженной грудью узкую дверцу, тоже стоял караульный дружинник. Глянул было подозрительно на Якушку, но заулыбался — узнал. И Якушка его узнал: «Васька Бриль... Кузнец Недосеки зять...»

— К нам, что ли? — спросил Васька, указывая наверх кожаной рукавицей.

— К вам, Василий, к вам! — заторопился с ответом Якушка, уважительно кланяясь. Хотя и годился ему этот Васька по годам в сыновья, хоть и ходил в зятях у старого Якушкиного приятеля, но все ж таки был он мужику не ровня, совсем не ровня. Дружинный плащ и меч у пояса возвысили Ваську над простыми людьми. А так Васька был парень хороший, не гордый...

— Поторопись тогда, — продолжал улыбаться дружинник, освобождая дорогу. — Тестюшка мой горячее варево из избы принес. Поснедай, пока не простыло. И рыбак Клим, знакомец твой, тоже тут...

Поблагодарив Ваську за доброе слово, Якушка нырнул, согнув голову, в башню и полез наверх по крутой скользкой лестнице.

Внутри башни было заметно теплее, чем на воле. «Сами по себе, что ли, стены греют? Печки-то здесь нет...» — думал Якушка, нащупывая в темноте ступеньки.

Кряхтя и отдуваясь, выполз из узкого лаза на площадку. Здесь тоже было темно — дружинники для тепла заложили бойницы разным тряпьем. Якушка больно ударился коленом о какой-то ларь, помянул про себя черта, проковылял к двери, которая выводила из башни на дощатый помост. Этот помост тянулся с внутренней стороны стены от угловой до воротной башни.

Якушка вышел на воздух и сразу увидел своих. Кузнец Иван Недосека, Клим Блица и посадский человек Моня, тоже знакомый, сидели вокруг глиняного горшка, неторопливо

хлебали деревянными ложками. Над горшком поднимался пар. Ветер с Москвы-реки, задувавший в бойницы, относил пар к перильцам, которые ограждали помост со стороны города. К стене между бойницами были прислонены копья и рогатины. Рядом лежали котомки с припасами, овчинные длиннополые тулупы, толстые обозные рукавицы без пальцев. Видно было, что люди изготовились к долгому сидению на морозе.

— Хлеб да соль! — проговорил Якушка вежливо.

— Едим, да свой! — отозвался, как полагось по обычаю, кузнец Недосека.

Пододвинулся, освобождая Якушке место у горшка, вытер о полушубок ложку, протянул Якушке:

— Поешь с нами!

Якушка молча прислушивался к разговору: сразу вступать в чужую беседу было неприлично. Другое дело, если человек пришел с новостями. А какие у Якушки новости? Сам рад услышать хоть что-нибудь...

Но и другие мало что знали. Говорили, что поутру рано в Звенигород прибежал князь Даниил Александрович Московский с большим боярином Протасием Воронцом, с иными боярами и с дружиной, а обоза при них не было — видно, спешил князь, богатство свое вывезти не успел. Дружинников с князем Даниилом пришло не так чтобы очень много — сотен шесть, но городские дворы они заполнили, и местным мужикам только и осталось, что греться у костров. А спасается князь Даниил от ордынской рати, от царевича Дюденя, который взял Москву и будто бы сюда идет...

— Некоей хитростью Москву взял, обольстив князя Даниила Александровича,— значительно добавил кузнец Недосека. Но какой именно хитростью взял царевич Москву и в чем состояло княжеское обольщение, объяснить не мог. Видно, кузнец повторял чужие, самому ему не до конца понятные слова.

Перед вечером дружинник Васька Бриль предупредил, что князь с воеводами обходит стены, смотрит, готовы ли ратники к осаде.

К вечеру все, кому положено, были на своих местах, стояли вдоль стены через человека: у одной бойницы — дружинник с луком, у другой — ратник из мужиков или посадских людей с копьем или рогатиной.

И в десятке, куда попал Якушка, дружинников и ополченцев было поровну, пять на пять, и все они были звенигородцами. Но начальствовал над пряслом¹ княжеский дружинник Алексей Бобоша. И в других местах старшими тоже были княжеские люди. Обижаться на это не приходилось: если князь в городе, он всему голова...

Якушка до этого ни разу не видел князя и ожидал обхода с понятным волнением, хотя сам понимал, что волноваться ему точно бы не с чего: одет исправно, копье наточено, топор блестит, как новый. Да и обратит ли внимание князь на него, человека мизинного? Но все-таки было боязно...

Князь Даниил Александрович шел впереди всех, как и полагалось князю. Он был в кольчуге и при мече, но на голову надел не боевой шлем, а теплую бобровую шапку с красным

¹ Прясло — участок стены между двумя башнями.

верхом; золотая княжеская гривна постукивала по кольцам доспеха.

Якушка удивился, что грозный и величественный воевода Илья Кловыня держится поодаль от князя, а рядом с князем вышагивает простенький с виду старичок в нагольном тулупчике, в меховом колпаке. Среди воевод, звеневших дорогим оружием, он казался невзрачным и совсем мирным, только взглядом обжигал, как лезвием ножа. Откуда было знать Якушке, что это — большой боярин Протасий Федорович Воронец, самый непонятный и самый страшный человек в Москве?

Однако взгляд старика, от которого мурашки побежали по спине, Якушка запомнил навсегда... Да еще запомнил суровость на лице князя Даниила Александровича, горестные морщины в уголках его рта, судорожное подергивание век. Может, только тогда и поверил до конца Якушка, что тревога не была ложной, что биться с ордынцами все-таки придется...

* * *

Ночь прошла спокойно.

Дружинники отсыпались в башне, перепоручив караул мужикам-ополченцам.

В морозной прозрачности неба мигали звезды. Луну окружал мерцающий желтый венец, похожий на нимб вокруг головы святого. Изредка на круглый лик луны набегали облака, и тогда по снежной равнине за рекой скользили неясные тени, будто неведомая безмолвная рать проворно бежала к городу и, добрав до подножия холма, растворялась в черной тени. А может, так только казалось

людям, истомившимся от недоброго ожидания...

Якушке выпало караулить под утро. Он смотрел через бойницу, как постепенно розовело небо над дальним лесом, как медленно, будто нехотя, выползало багровое солнце.

В какой-то неуловимый миг край солнца оторвался от кромки леса, и лед на Москвереке заискрился, засверкал. Якушка зажмурился, ошеломленный неожиданным потоком света, а когда снова глянул в бойницу — не поверил глазам своим.

Из-за поворота реки, растекаясь, как жирное чернильное пятно по листу пергамента, накатывалась на Звенигород черная татарская рать...

Якушка кинулся к башне — будить дружинников, но не успел сделать и двух шагов, как его оглушил медный рев набата. Видно, не один Якушка бодрствовал в тот час, и кто-то из караульщиков уже успел подать знак на колокольню.

Стуча сапогами, побежали к своим бойницам дружинники. Смолк набатный колокол, и стало совсем тихо, но не прежней тишиной ожидания, а тишиной кануна битвы — давящей, напряженной, грозной. И в этой тишине, туго натянутой, как тетива лука, готовая сорваться смертоносным полетом стрелы, — шли к Звенигороду татары, черные всадники на снежной белизне.

Татары ужасали муравьиной своей бесчисленностью, неотличимостью друг от друга, своим непонятным безразличием к людям, которые с жадным любопытством разглядывали их сквозь щели бойниц.

Татары проходили, не поворачивая голов к городу, будто мимо пустого места, и было в этом что-то глубоко оскорбительное для звенигородцев и одновременно пугающее, и стены родного города казались им хрупкими и ненадежными.

...С таким каменным безразличием приближается к своей жертве мясник, уверенный в своем праве безнаказанно убивать и в спокойной неотвратимости задуманного...

Безмолвно катился под городовым холмом нескончаемый поток татарских всадников, только копыта часто постукивали по речному льду — будто горох сыпался на железный противень. Казалось, струнулась вдруг и потекла среди зимы Москва-река, но потекла в другую сторону, и не прозрачными веселыми струями, а черной пеной...

За конными татарскими тысячами потянулись обозы, сотни простых мужицких саней, запряженных низкорослыми пахотными лошаденками. Видимо, татары загодя собрали обоз в попутных деревнях под будущую добычу. Мужичьи же лошадки тянули на полозьях камнеметные орудия — пороки.

Несколько пороков — угловатых, хищных, оплетенных паутиной ремней — остановилось прямо под городским холмом, на льду Москвы-реки.

— Глянь-ка! Глянь! На нас изготавлиют! — крикнул Якушка дружиннику Ваське Брилю, стоявшему у соседней бойницы. — Господи, помилуй и защити рабы твоя...

— А ты думал, мимо пройдут? — насмешливо отозвался Васька. — Думал, молитвы твои отгонят окаянных?!.

За обозами снова шла конница, и по-прежнему — мимо, мимо.

Только последняя татарская рать повернула коней к городу, мгновенно заполнив великим множеством всадников весь берег Москвы-реки. Эта рать, наверно, была лишь малой частью Дюденева войска, но все равно на каждого звенигородца и москвича приходилась если не сотня, то не один десяток врагов.

Татары спешивались, ставили на снегу круглые войлочные юрты, отгоняли за реку табуны коней.

Разъехались в разные стороны сторожевые татарские загоны.

Пошли по сугробам густые цепи лучников, обтекая город.

Просвистели первые татарские стрелы, с глухим стуком вонзаясь в деревянные стены и кровли.

Осада Звенигорода началась.

3

В памяти Якушки Балагура дни звенигородского осадного сидения остались не размеренным чередованием часов, как привычные будни, а минутными озареньями, яркими вспышками то ужаса, то боевого азарта, то боли, то торжества, то обреченности, то надежды, а между ними — забытие нечеловеческой усталости, когда он дремал, уткнувшись лбом в шершавые ледяные доски помоста — бездумно, настороженно, в готовности ежесекундно метнуться обратно к бойнице...

...Далеко внизу, под холмом, копошатся возле своих пороков татарские воины, натя-

гивают ремни, волокут каменные глыбы. Звенигородские дружинники пускают в них стрелы, но татары, прикрываясь большими щитами, продолжают свое зловещее дело. Камни ложатся в углубления рычагов, похожих на огромные деревянные ложки, и рычаги пороков разом взмываются — с бешеной силой, с треском и скрежетом. Каменные глыбы несутся вверх, сначала — стремительно и неудержимо, а потом, уже на излете — медленно поворачиваясь в воздухе, бессильно толкаются в подножие стены и катятся обратно, снова набирая стремительность, но теперь уже — стремительность падения.

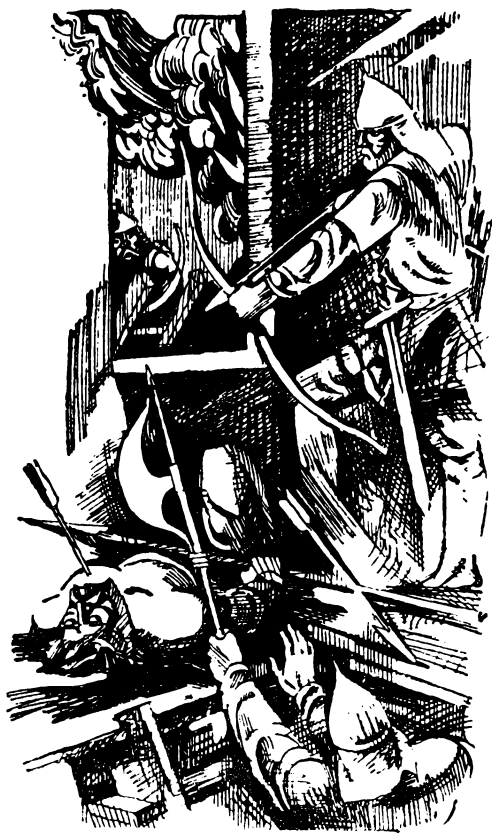
Ликующий крик дружинника Алексея Бобоши:

— А ведь не достать им до нас! Не достать!..

...Карабкаются по обледеневшему обрыву татарские воины, вырубая топорами ступени во льду, волокут за собой лестницы, злобно воют, натягивают луки, угрожающе взмахивают саблями. Срываются, катятся вниз, к подножию холма, где уже чернеет зловещая кайма мертвых тел. Снова набегают нестройными толпами и карабкаются, карабкаются к городской стене, к нему, Якушке.

А навстречу им летят из бойниц стрелы, метательные копья-сулицы, камни, глыбы льда, зола и песок. Все, что может убивать и слепить глаза, обрушивают на их головы защитники Звенигорода. Но татары все лезут и лезут, и не видно конца их приступу.

Посадские люди, их жонки и дети устали подносить связки стрел, коробки с камнями и золой. Несут, несут, — и все мало.



— Еще несите! Еще! Побольше! — неистовствует Алексей Бобоша, сам становится к бойнице и пускает стрелу за стрелой, подменяя раненого звенигородского дружинника.

Якушка проталкивает через свою бойницу тяжелое бревно и смотрит, торжествуя, как оно катится по обрыву, сшибая татарских воинов.

А злые языки пламени пляшут над кровлями: татарские горючие стрелы довели-таки город до пожара! Клубы дыма ползут к крепостной стене, слепят и душат ратников, но им нельзя покинуть свои места у бойниц — приступ продолжается.

Якушка давится кашлем, трет рукавом слезящиеся глаза, вслепую нащупывает камни и выкидывает, выкидывает их через бойницу, без конца.

Все смешалось, и не понять, день ли сейчас, вечер ли, а может, ночь уже? Темень, дым, смрад, а под стеной — леденящий сердце вой татарских воинов...

...Морозное утро. Под стеной, где вчера бился Якушка, тихо. Бой переместился к вопотной башне, где не так высоки и обрывисты склоны звенигородского холма, где татарские лестницы дотягиваются до гребня стены.

Якушка осторожно выглядывает в бойницу.

За рекой, над дальним лесом, поднимались столбы черного дыма — татары жгли деревни по всей звенигородской волости.

Со свистом летят татарские стрелы, изредка проскальзывают в бойницы: лучники Дюденыя по-прежнему стоят под стеной, подстерегают неосторожных.

— Поберегитесь, люди! Поберегитесь! — предостерегает Алексей Бобоша. — Нечего зря головы подставлять!

Ополченцы отходят от бойниц.

Только Васька Бриль, досадливо поведя плечами, снова высовывается наружу: любопытно ему по молодости, совсем не страшно. Высовывается и вдруг кричит — тонко, позаячы, хватается немеющими пальцами за древко татарской стрелы, которая вонзилась в шею, в самый вырез кольчужной рубахи. Корчится Васька, катится по помосту и исчезает за его краем — падает в закопченный сугроб, в небытие.

«Господи, прими душу его с миром...»

..Судорожно, надрывно зовет труба с воротной башни.

Толпой бегут по помосту к башне ратники, сшибаются в спешке копьями, тяжело дышат.

Бежит, подняв над головой тяжелый прямой меч, московский княжеский человек Алексей Бобоша.

Бежит кузнец Иван Недосека, размахивает топором, выкрикивает страшные проклятия.

Бегут звенигородские дружинники от угловой башни.

Бегут посадские люди и мужики-ополченцы с рогатинами и кистенями.

Воевода Илья Кловыня с ними бежит, взмахивает рвкой в железной рукавице, торопит людей: «Быстрее! Быстрее!»

Бежит, прихрамывая, Якушка Балагур, захваченный общим порывом. И нет у него сейчас страха: только одно желание — не отстать от своих.

А на помосте, между угловой и воротной башнями, ошетижилась копьями кучка татарских воинов, успевших перевалить через стену. К ним протискиваются новые и новые татары, татарский строй разбухает на глазах. Если татар не вышвырнуть обратно за стену, конец Звенигороду!

Набегают на татарских воинов звенигородцы, схватываются врукопашную.

А с другой стороны помоста, от воротной башни, московские дружинники приспели с князем Даниилом Александровичем. Князь Даниил кричит протяжно, страшно: «Бе-е-ей!»

Лязг оружия, топот, стоны.

Якушку толкают сзади, наступают на пятки, но что он может? Помост узкий, а людей много. Перед Якушкиными глазами только свои, татар не видно. Не протиснуться ему вперед, не найти, кого ткнуть копьем — впереди спины звенигородцев, островерхие шлемы дружинников да войлочные колпаки ополченцев. С кем биться?

Но падает Алексей Бобоша.

Бессильно прислоняется к стене, зажимая ладонью проколотый бок, кузнец Иван Недосека.

Еще падают звенигородцы, еще. У татар сабли острые!

И вот Якушка наконец вырывается вперед, прямо на высокого татарина, который отличается от других круглым медным шлемом, нарядным панцирем, красной бахромой на рукавах. Якушка с размаху бьет копьем в грудь татарина, вкладывая в удар всю извечную ненависть мирного землепашца к разбойнику-степняку, всю силу своих мускули-

стых, закаленных неисбывной мужицкой работой рук, которые подняли столько земли, повалили столько леса, что если бы ту землю и тот лес собрать вместе, то сложился бы град не меньше Звенигорода!

Копье с хрустом входит в татарскую грудь, наконечник застревает в чешуйках панциря. Якушка дергает древко, ужасаясь своей незащищенности, своему бессилию отразить встречный удар.

Но ответного удара нет. Схватка закончилась. Дружинники перебрасывают тела убитых татар обратно через стену — туда, откуда они пришли незванными гостями.

Возле Якушки останавливается воевода Илья Кловыня, говорит одобрительно:

— Похвалы достойно, мурзу копьем свалил! Вижу, добрый из тебя ратник получится! Если надумаешь ко мне в дружину проситься — приму.

— По мужицкому делу я больше привычен, — стесняется Якушка. — Да и хозяйство, опять же, свое есть...

— Ну, дело твое... А слова мои запомни...

...Снова проходит мимо Звенигорода татарская конница, но она теперь идет не от Москвы к Можайску, а от Можайска к Москве. Большие тумены¹ покидают звенигородские волости — дочиста ограбленные, выпущенные.

Но по-прежнему стоят под Звенигородом войлочные юрты татарского осадного войска, лучники пускают стрелы в город, спешенные

¹ Түмен — отряд монголо-татарской конницы численностью примерно в 10 тысяч человек. Во главе тумена стоял «темник».

воины Дюденья лезут на стены. А ночами по-прежнему мигают на пригородных полях бесчисленные костры татарского стана.

Снова и снова ходит по стенам, от бойницы к бойнице, князь Даниил Александрович, ободряет воинство свое:

— Большие татары ушли, скоро уйдут и остальные. Надейтесь, люди, на оружие свое да на божье заступничество.

Но мало кто уже верил в обнадеживающие слова. Обессилели люди в осаде, упали духом перед татарской звериной настойчивостью. Татар уже положили под стенами без числа, а они все лезут, лезут. Будет ли конец им, господи? Невмоготу больше!

А утром — радостный колокольный звон, ликующие крики: только догорающие костры остались на месте бывшего татарского стана. Ушли татары в темноте, как ночные разбойники-таты.

Быстоял град Звенигород!

Еще два дня держал людей в осаде воевода Илья Кловыня — осторожничал. Посылал конные сторожевые разъезды вниз по Москве-реке. Но разъезды возвращались и рассказывали, что ушел Дюдень невозвратным путем, что нет больше татар ни за Истрой, ни за Всадней, везде чисто.

Отправляясь обратно в Москву, князь Даниил Александрович собрал звенигородцев на соборной площади, в пояс поклонился людям (Якушка даже прослезился, увидев такое):

— Благодарствую, чада мои, что крепко стояли против супротивников, окаянных язычников, сыроедцев! Идите с миром по дворам своим!

— И тебе спасибо, княже, оборонил люди свои! — ответно гудела толпа.

Крупными хлопьями падал снег, будто торопился прикрыть зловещие следы войны. С карканьем проносились над головами стаи ворон, возвратившихся на городские кровли, на прежние обжитые места, и их возвращение убеждало даже самых недоверчивых, что беда позади. Только легкий запах гари да побуревшие от крови повязки у ратников еще напоминали о страшных днях осады.

4

Память людская отходчива. Иначе как жить? Незабытое горе давит, сгибает до земли, превращает жизнь в тоскливую черную муку, если не избавиться от него.

Забудется и эта татарская рать, как забылись прошлые. Сотрется из памяти, если рать не затронула самых близких людей. Но в такое не хотелось верить и не верилось. Предчувствие — дар немногих...

Якушка Балагур потом вспоминал, что не было у него после конца осады никаких дурных предчувствий. Не было, и все тут! Даже наоборот: бежал Якушка к своему двору с легким сердцем, радовался наступившей тишине, лесной отрешенности от забот, легкому скольжению лыж.

Свистел, как мальчонка, спускаясь с холмов в дютьковскую долину. Кричал оглушительно, пугая лесное зверье:

«О-го-го-о!»

Протяжным эхом отзывались холмы:
«...го-го-о!»

Металась по еловым лапам перепуганная белка.

С шумом, роняя снежные комья, сорвалась лесная птица глухарь.

«О-го-го-о!»

Нерушимо стояли вокруг Дютькова леса. Ничто не предвещало беды.

Но снег в долине истыкан оспенными укулами копыт.

Но на месте Якушкиного двора — мертвое пепелище, и закопченная печь поднималась над ним, как надгробие на кладбище.

И не было больше ничего: ни людей, ни скотины, только воронье карканье да скользкие волчьи тени за кустами.

Потемнело небо, качнулись сосны, будто опрокидываясь навзничь...

Якушка выронил из рук копье, побрел, пошатываясь, к пепелищу. Бездумно, отрешенно разгребал давно остывшие угли. Черепки разбитых горшков... Прогоревший дверной засов... Скособочившаяся от жара медная ступка... Все черное, черное...

Якушка нашарил под печкой щель тайника, вытащил оплавившийся комок серебра и бессильно лег на золу: надежды больше не было. Если бы жена Евдокия с ребятишками ушла по своей воле, она не забыла бы в тайнике свое и Машуткино приданое. Значит, смерть или вечный татарский плен...

Рухнуло в одночасье все, чем был жив Якушка.

Что делать? Начинать все снова — с голой земли, с первого бревна, положенного на пустоши? Надрываться в работе, копить по крохам новое хозяйство? И ждать, когда сно-

ва все расхватают хищные татарские руки? Так случилось с Якушкой на отчей земле, в деревне за Окой. Так случилось и здесь, в звенигородских лесах. И в любом другом месте могло случиться, потому что не было безопасности в Русской земле, вдоль и поперек исхоженной татарскими ратями.

Не оставалось у Якушки больше силы начинать все сызнова. Будто оборвалось что-то, державшее мужика при земле. Одно оставалось Якушке — ненавидеть.

Тяжелая, нерассуждающая, готовая перехлестнуть через край ненависть к ордынским насильникам переполняла Якушку. Ненависть, с которой нельзя жить, если не дать ей исхода — захлебнешься...

В сумерках Якушка Балагур снова пришел в Звенигород. Сидел, коченея, на крыльце воеводской избы, не поднимая глаз на людей, не отвечая на участливые слова. Он ждал, когда воевода Илья Кловыня выйдет в свой обычный вечерний досмотр городского караула. А когда дождался — рухнул на колени, прошептал отчаянно:

— Возьми в дружину, воевода... Якушка я, из Дютькова, которого ты звал к себе в осажденные дни...

— С чего вдруг надумал? — удивился воевода. — Быстро же ты на своем дворе нагостился!

Якушка медленно разжал пальцы. На серой от золы ладони тускло блеснул оплавленный комочек серебра.

Глава 2

Смерть великого князя

1

Князь Даниил Александрович давно заметил, что черные вестники почему-то приезжают чаще всего ненастными ветреными ночами, когда люди замыкаются в своих жилищах, а над опустевшими дорогами проносятся, топоча размокшую землю дрожащими тонкими лапами, грозовые ливни. Может, зло боится света и предпочитает подкрадываться в темноте?..

Бешеная грозовая ночь злодействовала над Москвой на исходе мая, в лето от сотворения мира шесть тысяч восемьсот второе¹, когда приехал гонец с вестью о неожиданной смерти великого князя Дмитрия Александровича, старшего брата Даниила.

Шквальные порывы ветра сотрясали кровли княжеского дворца, косые струи дождя хлестали в слюдяные оконницы, колокола кремлевских соборов сами собой раскачивались и гудели; казалось, это город стонет в непроглядной тьме, придавленный лютой непогодой.

Разбуженный комнатным холопом, князь Даниил принял недоброго вестника в тесной горенке, заставленной дубовыми сундуками с

¹ 1294 год.

посудой и мягкой рухлядью, без всякой торжественности, только домашний синий кафтан накинул на исподнее белье. Молча выслушал гонца, переспросил только, где сейчас княжич Иван, единственный сын и наследник Дмитрия Александровича, и, услышав в ответ, что он едет с отцовской дружиной и обозом от Волока-Ламского к Переяславлю, — закончил разговор...

У порога холодно стыла лужа, которая натекла с сапог и мокрой одежды гонца. В черной, как деготь, воде отражались тусклые огоньки свечей. За притворенной дверью затихали, удаляясь, тяжелые шаги дворцового Ивана Романовича Клуши.

Даниил представил, как замечется сейчас сотник Шемяка Горюн, рассылая дружинников за думными людьми, как побегут к дворцовому крыльцу, разбрызгивая сапогами лужи и прикрываясь полами плащей от секущего дождя, поднятые с постели бояре и воеводы, — и зябко повел плечами.

Первое чувство ужаса, когда Даниилу вдруг показалось, что рухнули стены и он остался будто голый, незащищенный на ледяном ветру, — уже прошло, и к князю вернулась способность думать и рассуждать.

А подумать было о чем...

Старший брат, великий князь Дмитрий Александрович, был для Даниила опорой в жизни, поводом в темном лесу княжеских дел. Даже побежденный и униженный, преследуемый по пятам князьями-соперниками, изгнанный из столицы, — Дмитрий Александрович оставался в глазах людей великим князем, вокруг которого спуска малое время

снова собирались друзья и ненависть к которому выявляла скрытых недругов. Привычная расстановка сил сохранялась на Руси, и было понятно, с кем хранить дружбу и против кого готовить рати.

Со смертью великого князя Дмитрия Александровича все привычное рухнуло и рассыпалось, как спицы из тележного колеса, потерявшего обод в глубоком ухабе...

Даниил с горьким сожалением думал, что он напрасно мнил себя самостоятельным правителем. Спокойными и благодатными для Москвы годами он обязан единственно старшему брату. Сильная рука великого князя прикрывала Москву от посягательства соседей, устрашала недоброжелателей. А он, Даниил, как малое дитя, сердился на братскую руку и порой отталкивал ее...

Но только ли он, Даниил, виноват в том, что между Москвой и стольным Владимиром случались и пасмурные дни взаимного недоброжелательства, и грозное громоухание открытой вражды?

Вспоминая прошедшие годы, Даниил мог честно ответить: нет, не только он!

Великокняжеский Владимир издавна привык видеть в удельной Москве лишь младшего служебника и требовал присылать полки, как будто у Москвы не было иного предназначения, кроме как подпирать своими неокрепшими плечами пышное, но непрочное строение великокняжеской власти, которое опасно раскачивали ордынские злые ветры, постоянное соперничество князя Андрея Городецкого, среднего Александровича, новгородское неумное своеволие, равнодушие ростов-

ских, ярославских, углицких, белозерских и иных удельных князей. «Полки! Посылай полки!» — требовал великий князь Дмитрий Александрович от младшего брата. Требовал, но не всегда получал желаемое, потому что Даниил вместе с властью над Москвой воспринял неуступчивость воеводы Ильи Кловыни и отвечал его словами: «А ну как к Москве приступят враги? Чем город оборонять буду?»

Время подтвердило мудрость такой неуступчивости. Копилась в Московском княжестве ратная сила, не растрачиваемая на стороне. Осторожное обособление от междоусобных войн позволило Даниилу избежать многих несчастий. Обошли Московское княжество, не числившееся в явных союзниках великого князя Дмитрия, разорительные татарские рати, которые дважды наводил на Русь злой домогатель великокняжеского стола князь Андрей Городецкий...¹

Когда же он, Даниил, переступил незримую черту, которая в глазах людей отделяла его от великокняжеских деяний Дмитрия Александровича, и он, московский князь, недвучленно оказался в воинском стане старшего брата? Да и была ли она, эта черта? Скорее, это было похоже на скольжение по ледяному склону, поначалу — невольное, едва заметное, а потом — все стремительнее, и уже нельзя было остановиться, неудержимо несло навстречу ветру...

¹ Ордынская рать Кавгадия и Алчедая в 1281 году и рать Турантемира и Алына в 1282 году. Во время этих «ратей» Москва не пострадала, хотя значительная часть русских земель подверглась опустошению.

В лето шесть тысяч семьсот девяносто третьѣ¹ князь Андрей Городецкий опять привел на Русь ордынского царевича с конным войском. Вскипела в жилах Дмитрия Александровича горячая кровь его отца, прославленного воителя Александра Ярославича Невского, не стал он прятаться от татар в дальних городах, но кинул клич по Руси, сзывая храбрых на битву. Захваченный общим одушевлением, Даниил Московский тоже привел свою дружину к Оке-реке. Над ратным полем развевались рядом владимирские и московские стяги, являя всем единение братьев.

Побили тогда русские полки татар, и побежал царевич в Орду бесчестно, пометав на землю рыжие бунчуки свои², и обнял с благодарными слезами великий князь Дмитрий своего брата младшего Даниила, и пошли по Руси разговоры, что родичи по крови породнились и делами...

Но победа над царевичем вызвала гнев и ордынского хана, и князя Андрея Городецкого, обманувшегося в своих надеждах, и гнев их пал поровну на Дмитрия и на Даниила...

Потом московская дружина вместе с великокняжескими полками ходила на мятежную Тверь. Кровь тверичей еще больше связала братьев.

Дальше — больше. В Москве перестали привечать послов Андрея Городецкого, соперника великого князя. А в отместку в заволжском городе Городце люди князя Андрея

¹ 1285 год.

² Бунчук — древко с конским хвостом на конце, которое заменяло в ордынской войске знамя.

разбили московский торговый караван и пометали купцов в земляную тюрьму. После этого Даниил Московский перестал возить дани в Волжскую Орду, к хану Тохте, держа руку темника Ногая, как великий князь Дмитрий Александрович¹.

Полное единение со старшим братом не казалось тогда Даниилу опасным. Дмитрий Александрович крепко сидел на великокняжеском столе во Владимире. Смирились и затихли его соперники, только в Орду стали ездить чаще, чем прежде, и жили там подолгу. И князь Андрей Городецкий зачастил в Орду, и князь Дмитрий Ростовский, и князь Константин Углицкий, и князь Федор Ярославский, и иные недоброжелатели великого князя. На людях Дмитрий Александрович об этих поездках говорил равнодушно и презрительно: «Вольному воля! Кому русский мед по душе, а кому бесовский напиток кумыс!» Но брату своему Даниилу признался в своей тревоге: «Ох, чую, не к добру ордынское сидение Андрея!» Так и вышло. В лето шесть тысяч восемьсот первое² князь Андрей Городецкий навел на Русь многочисленную конную рать ханского брата Дюденыя.

Великий князь Дмитрий Александрович с

¹ Темник Ногай захватил власть в Дешт-и-Кипчак (так восточные историки называли Половецкую степь) и фактически стал самостоятельным правителем. В Золотой Орде образовались два военно-политических центра, которые проводили различную политику по отношению к Руси, поддерживая враждующие княжеские группировки. Темник Ногай поддерживал великого князя Дмитрия Александровича, ханы Волжской Орды Телбуга и Тохта — Андрея Городецкого и его союзников.

² 1293 год.

семьей и боярами укрылся от Дюденовой рати в Пскове, у своего старого друга князя Довмонта Псковского. Верные люди доставили в Псков серебряную казну, скопленную Дмитрием за годы великого княжения.

Но Русь-то ведь не серебро, ее не спрячешь в сундук и не увезешь в безопасное место! Тесны для Руси неприступные стены псковского Крома!¹

Опять легли русские земли под копыта ордынских коней, захлебнулись в дыму бесчисленных пожаров. Ханский брат Дюдень сжег в ту злосчастную зиму четырнадцать русских градов, столько же, сколько пожег до него хан Батый. Татарская рать на этот раз не миновала Московское княжество...

В обозе Дюденева войска возвратились на Русь князья, противники Дмитрия Александровича, и начали разбирать бывшие великокняжеские города.

Князь Андрей Городецкий под колокольный перезвон торжественно въехал в стольный Владимир, который предпочел откупиться от татарского разорения полной покорностью.

Князь Федор Ярославский с благословения Андрея поспешил занять Переяславль, отчину старшего Александровича, и заперся с дружиной за его стенами, выжидая исхода войны между братьями.

Новгородские посадники признали Андрея великим князем и выговорили себе за это Волоч-Ламский, удел единственного сына Дмитрия Александровича — княжича Ивана...

¹ К р о м — каменный кремль в Пскове.

Нелегким было время после Дюденовой рати, когда Даниил возвратился из Звенигорода в разоренную Москву и начал собирать людей на родные пепелища.

Но и тогда все казалось ему поправимым. Старший брат Дмитрий собирал в Пскове новое войско, переехал в Тверь и при посредничестве князя Михаила Тверского добился возвращения отчинного Переяславского княжества. Некоторые удельные князья, обиженные непомерным властолюбием нового великого князя Андрея, уже посылали к Дмитрию Александровичу посольства, обещая помощь. Даниил, узнавший об этом от верных людей, поверил, что старший брат вернет себе власть над Русью, и, властвуя, не допустит конечной гибели Московского княжества...

И вдруг — эта смерть!

Будущее казалось мрачным. Андрей Городецкий не простит тесную дружбу с Дмитрием Александровичем, никогда не простит. Теперь нужно думать, как сохранить Московское княжество. Для себя сохранить и для сыновей-наследников.

А сыновья Даниила подрастали: Юрий, Александр, Борис, Иван. Пройдет три-четыре года, и старший — Юрий — возьмет в руку меч, чтобы встать рядом с отцом на ратном поле. И еще можно ждать сыновей — жена Ксения опять ходит не порожняя. Милостив бог к Даниилу. Не то что к старшему брату Дмитрию. У князя Дмитрия Александровича лишь один сын — Иван, а внуков нет и не предвидится. Может и так случиться, что закончится на Иване славный род старшего Александровича...

Горькая это судьба — умирать без наследников...

Но и жить с малолетними наследниками — судьба нелегкая. За сыновей — отец в ответе. Не только за Московское княжество беспокоился нынче Даниил, но и за сыновей своих, божьей милостью наследников княжества. Жестоко, ох как жестоко будет биться Даниил! За себя биться, за сыновей, за княжество! Только бы хватило силы!..

Но силы было еще мало. Против великого князя Андрея в одиночку не выстоять, задавит многолюдством войска. Городецкие полки, ярославские, ростовские, углицкие, белозерские, а теперь еще великокняжеские владимирские полки прибавились! Да и Господин Великий Новгород, если Андрей позовет, ратью выйдет. Надо же посадникам как-то оправдываться за новоприобретенный Волок-Ламский!

Одна надежда осталась у Даниила — найти союзников, для которых князь Андрей Городецкий так же опасен, как для Москвы. Найти и соединиться под одним стягом...

Так и сказал Даниил Александрович собравшимся на совет боярам и воеводам:

— После почившего в бозе брата нашего Дмитрия, да обретет покой его душа много-страдальная, Москва осталась одна. Но один в поле не воин. С кем соединиться в ратном строю, чтобы сберечь Московское княжество от неприятеля нашего князя Андрея?

Тяжелое молчание повисло в горнице.

Бояре и воеводы виновато отводили глаза, не решаясь вымолвить слово совета. И Даниил вдруг подумал, что, может быть,

напрасно он столько лет подряд ломал волю своих думных людей, принуждая к слепому повиновению? Не пожелавших смириться в гневе отсылал прочь из Москвы, как воеводу Илью Кловыню... И вот — расплата! Наступило время великих решений, а думные люди не столько о самом деле размышляют, сколько стараются угадать, что он, князь Даниил, желает от них услышать. Чего-то недодумал Даниил, смирив боярское своеволие, чего-то недосмотрел, и вот ныне с горечью увидел, что надеяться можно только на себя самого. Да еще на большого боярина Протасия Федоровича Воронца, несгибаемого старца, не единожды гневавшего его несогласием, а теперь — самого нужного...

И князь Даниил кивнул Протасию Воронцу:

— Говори, боярин!

Протасий встал, поклонился князю, поблагодарил за честь.

Думные люди смотрели на него с завистью и опаской. Честь великая Протасию, но и ответ, в случае чего, не меньше. Осторожному лучше промолчать. Бог с ней, с честью-то!

Князь Даниил слушал неторопливую речь старого боярина и — в который уже раз! — радовался совпадению их мыслей. Радовался, что придуманное им самим находит подтверждение в словах боярина, как будто не Протасий, а сам он держит речь перед замершими думными людьми.

Протасий Воронец советовал противопоставить великому князю Андрею союз трех дружественных князей — Даниила Московского, Михаила Тверского и Ивана, сына

покойного великого князя, единственного законного наследника Переяславского княжества. Если помочь Ивану утвердиться в своей отчине, то можно не просто союзника приобрести, но благодарного навек друга...

Протасия поддержали тысяцкий Петр Боволков, архимандрит Геронтий и другие думные люди. Умное слово сказано, почему бы не присоединиться?

Не видел иного решения и князь Даниил. Он согласно кивал головой, когда Протасий Воронец заключил:

— Надобно ссылаться с Михаилом и Иваном немедля, пока во Владимире не разобрались, что к чему. Послом в Тверь меня пошли, хитрый нрав князя Михаила мне доподлинно известен. Будь в надежде, княже: привезу мир и дружбу! А с Иваном лучше сам встретиться — по-родственному, по-отцовски. В отца место ты остался братиничу¹ своему Ивану. В Москве встретиться или по дороге на Переяславль, как Иван пожелает. Не время нынче спорить, кто к кому ехать должен, кому честь выше. Другое важно: дня лишнего не пропустить!

С боярином Протасием Воронцом в Тверь отправился архимандрит Геронтий, чтобы на месте скрепить договорную грамоту крестоцелованием.

А к князю Ивану поехал с крепкой охраной сотник Шемяка Горюн. Велено было Шемяке поспешать и говорить с Иваном уважительно, мягко, высказать родственную заботу князя Даниила о Переяславском княжестве.

¹ Б р а т н и ч — племянник.

Но и намекнуть было велено, что без московской помощи навряд ли попадет Переяславль в руки Ивана, — чтобы Иван о том задумался...

2

Прошла неделя, а вестей от послов не было.

Князь Даниил томился ожиданием. Подолгу сидел один в горнице, не допуская к себе даже домашних. Вечерами обходил кремлевские стены — хмурый, озабоченный, руки заложены за спину.

Следом, неслышно ступая мягкими сапогами, не приближаясь и не отставая от князя, крались телохранители. Даниил не замечал их, как не замечает человек собственную тень, от которой все равно не убежать, как ни старайся, — приросла навеки. Не замечал князь и сторожевых дружинников, замиравших при его приближении и как бы вжимавшихся в морщинистую бревенчатую стену.

Привычное, им же самим созданное одиночество окружало Даниила, и он не тяготился им, искренне веря, что без незримой черты, отделявшей князя от остальных людей, не может быть подлинного величия.

Без малого два десятка лет княженья приучили Даниила не задерживать взгляда на суетном, мелком. А мелким казалось все, что не поднималось вровень с державными княжескими делами или не мешало, при всей своей кажущейся малозначительности, плавному скольжению этих дел, подобно песку, попавшему во втулку тележного колеса. На

такие мелочи обращать внимание было необходимо, и высшая мудрость князя состояла в том, чтобы уметь выделять мнимые мелочи из необозримого множества истинных мелочей...

Даниил радовался, когда за мелким, обыденным делом вдруг прояснялось нечто значительное, то, что другие — незрячие — пропустили мимо.

Вот, к примеру, сегодня вечером. На дорогах, которые вели в Москву, почти не было людей. И позавчера, и вчера к городу толпами шли ратники, а сегодня не идут. Почему?

Неразумный не заметит, а если и заметит, то не поймет скрытый смысл. А Даниил и заметил, и зарубку на память сделал, потому что безлюдье на дорогах означало, что мужики-ополченцы из ближних и дальних московских деревень уже собрались за кремлевские стены. Удивится тысяцкий Петр Босоволков, когда князь скажет ему мимоходом: «Спасибо, боярин, быстро собрал пешую рать!» Удивится и восхитится князем, и преисполнится почтением, и будет гадать, откуда Даниилу все известно, ибо сам тысяцкий о сборе пешей рати ему доложить еще не успел...

А князь Даниил не только знал, но уже и прикинул, что из этого следует, если примерить к большим княжеским заботам. За Москву можно теперь не опасаться, город бережет севшее в осаду ополчение, руки у князя развязаны, можно хоть завтра выводить в дальний поход конные дружины!

Но это потом, потом...

А пока князь Даниил ждал вестей, а люди ждали решение князя. Но князь молчал, будто не замечая беспокойства и ожидающих взглядов. Он лишь велел вызвать из Звенигорода в Москву старого воеводу Илью Кловыню.

Велел, ничего не объясняя, оставив в недоумении даже многоопытных думных людей. Ведь известно было, что воевода в опале, что отослан из столицы в маленький Звенигород за упрямство и противление воле князя. Как же так, откуда вдруг милость к опальному воеводе?

А все было очень просто. Князь Даниил понял, что воевода нужен именно здесь, в Москве, что в нынешнее тревожное и опасное время хорошо иметь рядом такого верного и непоколебимого человека, как Илья Кловыня. А что до обиды на прошлое упрямство воеводы, так это и есть то мелкое, что нужно уметь отбрасывать в сторону, если речь идет о пользе для княжества...

* * *

Воевода Илья Кловыня приехал в Москву с большим обозом и дружиной; будто заранее знал, что возвращаться ему в Звенигород больше не придется. Князь Даниил самовольно вышел во двор, обнял как родного человека, заговорил радушно, дружелюбно: — Рад! Рад! По-добру ли доехал, воевода?

О семье не спросил. Знал, что у воеводы Ильи Кловыни заместо жены — Москва-матушка, а заместо детей — дружинники да

ополченцы. Весь Илья Кловыня — в войске, иного для него не существовало. Поэтому-то Даниил, желая уважить воеводу, сразу предложил:

— Не посмотреть ли нам ратников твоих? Каковы будут?

— Добрые вои! — просиял воевода. — С такими хоть на татар в поле выходи!

Рядышком, плечо в плечо, князь и воевода обошли выстроившихся дружинников. Войско действительно было хорошее, любо-дорого поглядеть. Дружинники стояли прямо, смотрели весело, будто на подбор молодые, ладные, в единообразных доспехах: островерхие шлемы, кольчуги, овальные щиты с медными бляхами посередине...

Только на самом краю строя стоял ратник, чем-то неуловимо отличавшийся от остальных дружинников: то ли ранней седью в бороде, то ли горестными морщинами, то ли едва заметным дрожанием копья в узловатой тяжелой руке.

Приглядевшись, князь Даниил понял, что именно привлекло его внимание. Остальные дружинники будто сроднились с оружием, с доспехами, а на этом доспехи лежали как-то неловко, кольчуга морщилась на груди, меч оттянул книзу слабо затянутый пояс. Будто мужик, переодетый дружинником...

— Откуда взялся такой нескладный? — ткнул пальцем Даниил.

Воевода Илья Кловыня обиженно поджал губы, побагровел, но ответил тихо, почти-тельно:

— Из звенигородских мужиков, княже. Якушкой Балагуром кличут...

— Не больно весел твой Балагур! — улыбнулся князь.

Но воевода не поддержал шутки:

— Не с чего ему веселиться! Татары всю семью вырезали! А воин он добрый, на сечу злой — сам видел. Мурзу на стене самолично копьём свалил.

— Ну, коли так, пусть остается в дружине, — согласился Даниил. — Но в караул в Кремле пока что его не ставь. Подержи на своем дворе, пока не станет истинным воином. Учи ратному делу.

— Учю, княже...

* * *

А дни проходили, и каждый из дней заканчивался одинаково. Удаляясь в ложницу, князь Даниил наказывал дворецкому Ивану Клуше разбудить его в любой час, в полночь и за полночь, если приедут вестники от боярина Протасия или Шемяки Горюна.

Иван Романович Клуша, прижившийся на покойном и почетном месте княжеского дворецкого, преданно мигал редкими ресницами, силился склониться в поклоне. Боярин стал дородным без меры, чрево носил впереди себя с трудом, и поклон был для него подвигом немалым. Заверял:

— Исполню, княже! Как велел, так и исполню!

Спать боярин пристраивался, являя усердие, в каморке перед княжеской ложницей, вместе с телохранителями, только перину велел принести из дома, чтобы не отлежать бока на жесткой скамье. Засыпая, в свою очередь наказывал холопу:

— Если будут вестники, буди меня в полночь и за полночь!

Но ночные вестники не приезжали, и Иван Клуша успокоился, начал по привычке выкушивать для крепости сна чару-другую хлебного вина. Если б он мог предугадать, что чарки эти обернутся позором, после которого он не посмеет показываться на глаза князю! Если б знал!..

А случилось так: вестник приехал, а боярина Клушу не могли добудиться. Давно уже прошел в княжескую ложницу сотник Шемяка Горюн, оставляя на полу комья дорожной грязи. Уже и сам Даниил показался на пороге, поправляя перевязь меча. А холоп безуспешно старался разбудить боярина Клушу, тряс его за плечи, испуганно шептал в ухо: «Очнись, господине! Очнись!» Иван Клуша только мотал головой и снова заваливался на скамью. Толстые губы его шевелились, но только холоп, низко склонившийся к боярину, мог разобрать слова: «Ис-пол-ню-ю-ю...» От Ивана Клуши шибко пахло хлебным вином.

Князь Даниил презрительно скользнул взглядом по распростертому боярину и вышел из каморки.

Холоп в сердцах пнул сапогом скляницу из-под вина; скляница покатилась по чисто выскобленному полу и разлетелась вдребезги, ударившись о стену.

А дворецкий Иван Романович Клуша, оставленный наконец в покое, снова повернулся лицом к стене и, удовлетворенно почмокав губами, затих. Наверное, ему снились хорошие сны.

Сквозь непроглядную темень, сквозь дрожащую пелену дождя, разбрызгивая копытами стылые лужи, спотыкаясь об обнаженные корневища, скакали в ночь всадники с горящими факелами.

Ошеломляющим был переход от уютного тепла княжеского дворца к бешеной скачке по лесной дороге.

Наперерез всадникам кидались черные ели, угрожающе взмахивали колючими лапами и будто опрокидывались за спиной на землю. Даниилу казалось, что это не он с ближайшей дружиной мчится по ночному лесу, а сам лес бежит навстречу, расступается перед багровым пламенем факелов и снова смыкается позади, и нет перед ним никакой дороги — лишь враждебный, нескончаемый лес.

Но дорога была, хоть знали о том, куда она ведет, всего два человека — сам Даниил да сотник Шемяка, и отпущено было на эту дорогу времени до рассвета.

Князь Иван, переяславский наследник, ждал москвичей в лесной деревеньке возле устья речки Всьходни, отъехав тайно от своего обоза...

Князь Даниил Александрович не осуждал племянника за подчеркнутую потаенность встречи. Понимал, что иначе Иван поступить не мог, и хорошо, что возле него нашелся кто-то мудрый, подсказавший княжичу опасность людской молвы о встрече с Даниилом Московским. В Переяславле ведь еще сидели наместники великого князя Андрея, и неизвестно было, как они поступят. Не воспользо-

ются ли слухами о переговорах Ивана с московским князем, чтобы не впустить его в Переяславль?

Скоро, скоро все разъяснится! От Москвы до устья Восточной всего двадцать верст лесной дороги...

* * *

Всадники выехали из леса на большую поляну, за которой стояли избы, едва различимые в предрассветном сумраке. Даниил придержал коня, повернулся к Шемяке:

— Здесь, что ли?

— Будто бы здесь, — нерешительно отозвался сотник. — Прости, княже, отъезжал я в темноте, доподлинно не сметил... Но стог помню, что по правую руку от избы стоял, и колодезь тоже... Здесь!

Всадники поехали через поляну, заросшую высокой травой. Ветер стих. Дождь моросил неслышно, оседал водяной пылью на шлемы дружинников, на спины коней, каплями скатывался по жесткой осоке.

Из деревни выехали навстречу всадники с копытами в руках. Окликнули издали:

— Кто такие?

— Москва!

— Переяславль! — донесся ответный условный крик.

К князю Даниилу приблизился не старый еще, плотный боярин с русой бородой, в меховой шапке, надвинутой на глаза, в суконном плаще, полы которого опускались ниже стремян. Даниил сразу узнал его: дворецкий покойного великого князя — Антоний. По

словам сотника Шемяки, ныне Антоний был первым советчиком княжича Ивана.

Боярин Антоний коротко поклонился, сказал вялым, недовольным голосом:

— С благополучным прибытием, княже. Который час ждем. Рассветает скоро. Князь Иван Дмитриевич уже отъезжать собрался. Еще немного, и не застали бы его...

Даниилу не понравились ни слова боярина, ни то, как он произнес их. Давненько уже никто с ним, князем Даниилом, не осмеливался так разговаривать. Можно было так понять, что боярин Антоний упрекает москвичей за промедление, как будто Даниил не торопился, как только мог, не скакал всю ночь через лесную глухомань!

Но что удивляться? Высокомерие боярина Антония запомнилось Даниилу еще по детским годам, когда он жил у старшего брата. Тогда приходилось терпеть, но нынче...

«Пора бы менять боярину обхождение, пора!» — раздраженно подумал Даниил, но обиды своей не выдал, ответно поприветствовал:

— Рад видеть тебя, боярин, в добром здравии. Веди к князю. Я тоже заждался.

Стремя в стремя, будто ровня, князь и боярин поехали вдоль забора из кривых осиновых жердей, свернули в ворота.

Княжич Иван — высокий, слегка сутулый юноша с длинными белокурыми волосами — стоял на крылечке избы, близоруко щурился.

Даниил соскочил с коня, обнял племянника за узкие плечи.

Иван всхлипнул по-детски, уткнулся ему в грудь мокрым от дождя, безбородым лицом. Даниил коснулся ладонью его волос, лег-

ких, будто пух, и ему вдруг захотелось приласкать и утешить Ивана, как обиженного ребенка.

«Не в нашу породу Иван, не в Александровичей! — подумал Даниил. — Отец его Дмитрий в те же восемнадцать лет прославленным воителем был, а этот дите сущее...»

Боярин Антоний, будто почувствовав слабость Ивана и желая уберечь от нее, властно взял его за локоть, громко сказал:

— Зови гостя в избу, княже. Зови.

Не отпуская руки, боярин Антоний повел Ивана в избу, усадил в красный угол и сам уселся рядом.

«Будто дитенка привел!» — опять отметил Даниил и подумал, что, видно, не с Иваном придется ему разговаривать, а больше с этим упрямым боярином, который, как видно, совсем подмял под себя слабого волей княжича.

Так оно и вышло. Иван больше молчал, только голову наклонял, соглашаясь с боярином. А боярин Антоний настырно требовал от москвичей одного — войска! Пусть-де московский князь пришлет конные дружины, но не под московским стягом, а под переяславским, и не со своими воеводами, а под началом воевод князя Ивана, чтобы никто не догадался о московской помощи.

Князь Даниил не отказывался помочь Ивану, отнюдь нет! Конное войско было готово и уже двигалось — и Даниил знал это — к условленному месту встречи. Но требования боярина Антония показались Даниилу чрезмерными: московские полки никогда не ходили под чужими стягами!



К тому же Антоний только требовал, а сам ничего не обещал. А Даниилу нужны были взаимные обязательства Ивана, навечно скрепленные крестоцелованием.

Но от этого-то и старался уклониться боярин Антоний.

— Отложим до другой поры, княже! — упрямо повторял он. — Вернется Иван Дмитриевич на отцовский удел, тогда и поговорим, что Переяславль может для Москвы сделать...

И еще одно настораживало князя Даниила, казалось неверным и даже опасным: боярин Антоний мыслил не как думный человек маленького удельного владетеля, а как великокняжеский большой боярин. Видно, ничему не научили Антония горькие неудачи последнего года, и он по-прежнему мечтал войти хозяином в стольный Владимир, хотя за этой мечтой не было больше ни прежних многолюдных полков, ни громкого имени великого князя Дмитрия Александровича. Понять Антония было можно — всю жизнь отдал боярин возвышению старшего Александровича, но оправдать — нет!

В невозвратные времена были обращены глаза боярина Антония. Он не понимал, что его время прошло, что мечтания о власти над Русью, не подкрепленные ничем, кроме собственного тщеславия, приведут к гибельной для Ивана усобной войне с великим князем Андреем...

А Ивана напыщенные речи боярина будто заворожили, он смотрел на своего советчика преданно и восхищенно, поддакивал:

— Верно говорит боярин! Отцовское наследство — не только Переяславль, Владимир — тоже...

Князь Даниил Александрович с жалостью смотрел на разволновавшегося племянника. «Неужто не понимает, что нелепо мечтать о великом княжении, когда и малого-то в руках нет? Надо развеять пустые мечтания, пока они не привели Ивана к опасности!»

Князь Даниил повернулся к Антонию, ударил кулаком по столу:

— Куда зовешь своего князя, боярин? С огнем играешь?

— Не привыкли Александровичи бояться врагов... — начал было Антоний, но князь Даниил прервал его:

— Бояться не привыкли, но и неразумными не были. Смири гордыню, боярин! Гибельна твоя гордыня!

— Жизни не жалел, служа господину моему Дмитрию Александровичу! — вскинулся Антоний. — И сыну его служа, жизни тако же не пожалею!

— Кому нужна твоя жизнь, боярин? — жестко и презрительно спросил вдруг Даниил после минутного молчания. — Окупишь ты жизнью своею конечное разорение Переяславского княжества? Нет, не окупишь! — И добавил угрожающе: — Если б не знал твою верность старшему брату, боярин, то подумал бы, что недруг подсказывает Ивану недоброе, погибельное... Смири гордыню, боярин!

Антоний вскочил, оскорбленный. Губы его дрожали, с трудом выговаривая бессвязные слова:

— Мыслимо ли?! Слуге верному?! Обидно се! Защити, господин Иван Дмитриевич, от поношения!

Иван съежился, боязливо переводя взгляд с обиженного боярина на князя Даниила, грозно сдвинувшего брови, и снова на Антония, ждавшего его слова в свою защиту.

Тяжелое молчание повисло в избе, и никто не решался первым нарушить его, чтобы не омрачить взаимным недоброжелательством встречу, от которой так много ждали и москвичи, и переяславцы.

Зашевелился в своем углу сотник Шемяка Горюн, будто нечаянно стукнул по полу ножами меча.

Заскрипела, отворяясь, дверь. И все повернули головы на этот скрип, почувствовав неожиданное облегчение.

Заполнив дверной проем широкой околичуженной грудью, наклонив под притолокой голову в островерхом шлеме, в избу тяжело шагнул седобородый мрачный великан. С конца плети, зажатой в могучем кулаке, падали на пол капли воды.

— Сей муж Илья Кловыня, воевода московской конной рати! — торжественно возгласил Даниил. — Где твои люди, воевода?

— Семь сотен ратников, как велено было, возле деревни стоят, — прогудел Кловыня. — Может, сам посмотришь, княже?

Переяславцы удивленно переглянулись. Видно, даже многоопытный боярин Антоний не ожидал столь скорого прибытия московской конницы.

«Вот случай удалить боярина и остаться с Иваном наедине!» — решил Даниил, на-

правляясь к двери. За ним нерешительно потянулся Иван.

Боярин Антоний тоже вскочил со скамьи, с неожиданным проворством обогнал княжича, прижался к косяку, чтобы пропустить его вперед, — решил, видно, не оставлять своего воспитанника без присмотра и на улице.

Но князь Даниил вдруг остановился возле порога, обнял Ивана за плечи и небрежно бросил Антонию:

— Ты пойди, боярин, посмотри войство. Восвода тебя проводит. А мы с братиничем, пожалуй, в избе останемся, поговорим по-родственному...

Антоний замахал руками, не соглашаясь.

— Иди, боярин! — настойчиво повторил Даниил.

Оттесняя Антония за порог, глыбой надвинулся воевода Илья Кловыня:

— Иди!

Подскочивший Шемяка Горюн крепко взял Антония под руку, будто желая вежливо поддержать, а на самом деле чуть не силой вытолкнул его за дверь.

За прикрытой дверью малое время слышалась какая-то возня, приглушенные голоса, потом все стихло.

Даниил и Иван остались одни.

Они опять сели за стол, каждый на свое место. Даниил отодвинул в сторону железный светец с тремя тонкими свечами. Свечи были из плохого воска, чадили и потрескивали, как сырые поленья в печи. Дрожащие язычки пламени отражались в серых глазах Ивана, и взгляд этих глаз казался Даниилу каким-то зыбким, ненадежным.

А Даниилу хотелось найти в глазах Ивана твердость, веру в общее дело, которое объединило бы их, самых близких людей покойного Дмитрия Александровича.

Даниил верил, что такое единение возможно, если Иван пойдет за ним, московским князем, и если дорога, которую выберет для себя переяславский наследник, будет направлена не к призрачному блеску стольного Владимира, а к достижимой цели — сохранению Переяславского княжества.

Но эти оба «если» зависели от того, сумеет ли он, Даниил, убедить Ивана в своей правоте, оторвать его от боярина Антония. И Даниил начал:

— Ответствуй, как на исповеди, как перед отцом твоим, ибо я тебе отныне вместо отца: по плечу ли тебе великокняжеское бремя? Чувствуешь ли твердость и силу в себе, чтобы спорить с князем Андреем? Готов ли на вечные тревоги, на кровь и вражду? Отвечай, как думаешь сам, ибо как мыслит боярин Антоний, я уже слышал...

И Иван на каждый вопрос без промедления отвечал:

— Нет! Нет! Нет!

— Так почему же ты идешь за боярином? — настойчиво допытывался Даниил. — Боярин прошлым жив, тебе же о будущем думать надо. Почему его слушаешь?

Иван опустил глаза, проговорил тихо, с усилием:

— Стыдно мне слабость перед отцовскими боярами показывать. Говорят они, что я-де от дела родителя своего отказываюсь, если не думаю о великом княжении...

— Стыдно? — насмешливо переспросил Даниил. — А чужим умом жить не стыдно? Запомни, Иван, княжескую заповедь: бояр выслушай, но поступай по своему разумению. Князь над боярами, а не бояре над князем. Так богом установлено — князь над всеми! Только так можно княжить!

— Трудно мне...

— А какому князю легко? — перебил Даниил. — Думаешь, мне было легко, когда сел неразумным отроком на московский удел? Бояре замучили советами да увещеваниями, вроде как тебя Антоний. Не сразу я их гордыню переломил...

— И у тебя, значит, подобное было?

— Было, Иван, было.

— Что мне делать-то? Присоветуй. Как в темном лесу я.

Даниил перегнулся через стол и принялся втолковывать свой взгляд на княжеские дела, с радостью подмечая, как тает холодок в глазах племянника:

— Не та теперь Русь, что была при бабюшке твоём, совсем не та. Владимирское княжество, опора всякого великого князя, силу потеряло. Не по плечу нынче Владимиру властвовать над Русью. Призрак это, не живой человек. Опору теперь нужно искать лишь в своём собственном княжестве, крепить его, расширять. Будешь своим княжеством силен, можно и о стольном Владимире подумать, но не менять на него своё княжество, а к своему княжеству присоединять, как добавку! Но и для Москвы, и для Переяславля не скоро такое будет возможным. На десятилетия счёт придется вести! А пока наше

дело — сохранить имеющееся. Запомни накрепко: в одиночку ни Переяславлю, ни Москве против великого князя Андрея не выстоять! В единении спасение! Как пальцы, в кулак сжатые! В железную боевую рукавицу затянутые! Всесокрушающие! Дружбу тебе предлагает Москва. Не отталкивай ее!..

Иван растроганно всхлипнул:

— Единым сердцем и единой душою буду с тобой, княже!

Даниил расстегнул ворот рубахи, вытащил золотой нательный крест, протянул Ивану:

— Се крест деда твоего и отца моего, благоверного князя Александра Ярославича Невского. Поцелуем крест на взаимную дружбу и верность!

Иван благоговейно прикоснулся к кресту губами, в его глазах блеснули слезы.

— На дедовском кресте клятва нерушима! — строго, почти угрожающе возгласил князь Даниил. — Аминь...

Потом Даниил откинулся на скамью, обер платком вспотевший лоб, вздохнул облегченно: «Наконец-то!» Продолжил уже спокойно, буднично:

— Конная рать с воеводой Ильей Кловыней пойдет следом за твоим обозом. Если понадобится — позови его, воевода знает, что делать. А лучше бы сам управился с великокняжескими наместниками. Андрею о нашем союзе ни к чему знать.

— Сделаю, как велишь...

— О кончине отца твоего, если в Переяславле не знают, молчи. Веди дело так, будто отец за тобой следом идет, а ты его опе-

редил, чтобы перенять город у наместников отцовым именем...

— Сделаю, как велишь...

— Как в город войдешь, собирай людей из волостей, садись в крепкую осаду. Если князь Андрей ратью на тебя пойдет, шли гонцов в Москву.

— Спасибо, княже. Пошлю...

— Боярину Антонию пока не говори о решенном между нами.

— Не скажу, княже...

— Ну, с богом! — решительно поднялся Даниил. — На твердость твою уповаю, на верность родственную. Брат для брата в трудный час! Пусть слова эти условными между нами будут. Кто придет к тебе с этими словами — тот мой доверенный человек.

Даниил обнял племянника, еще раз шепнул на прощание:

— Будь тверд!..

* * *

Небо над лесом посветлело, но дождь продолжал сыпать как из сита, мелко и надоеливо.

То ли от непогоды, то ли от того, что не было больше подгоняющего азарта спешки, — обратная дорога показалась Даниилу бесконечно длинной.

Даниил покачивался в седле, борясь с навалившейся вдруг дремотой. «Дело сделано! Дело сделано!» — повторял он про себя, но повторял как-то равнодушно, без радости. Удачные переговоры с княжичем Иваном были лишь малым шагом на бесконечной дороге

княжеских забот, которыми ему предстояло заниматься и сегодня, и завтра, и через год, и всю жизнь, потому что каждое свершенное дело тянуло за собой множество новых дел и забот, и так — без конца...

Вот и теперь, возвращаясь в Москву, князь Даниил Александрович мучился новой заботой.

«Как с Тверью?»

* * *

А с Тверью было плохо, и князь Даниил узнал об этом тотчас по возвращении в Москву. Боярин Протасий Воронец, вопреки сего же прошлым заверениям, приехал из Твери считай что ни с чем!

Молодой тверской князь Михаил Ярославич уклонился от прямого разговора, перепоручил московских послов заботам своего тысяцкого Михаила Шетского. А тот принялся крутить вокруг да около, оплетать послов пустыми словами. Протасий чувствовал, что тверичи хитрят, ждут чего-то, но чего именно, дознаться не сумел. Так и отъехал из Твери, не добившись от князя Михаила желанного обещанья быть за-один с Москвой.

Стоял Протасий Воронец перед своим князем, виновато разводил руками (Даниилу даже жалко его стало!):

— Не пойму, княже, чего хотят в Твери? Михаил только приветы тебе шлет, ничего больше. А уж тысяцкий Шетский...

— Змий лукавый! Обольститель лживый, сатанинский! — неожиданно вмешался архимандрит Геронтий, вспомнив, видно, как лов-

ко уходил от ответов тверской тысяцкий. — Прости мя, господи, за слова сии, но — бес он сущий!

— Ладно, отче! — прервал Даниил разгорячившегося духовника. — Не хули тысяцкого. Михаил Шетский своему господину служит, как может. Другое меня заботит: что задумал сам тверской князь? Ну да время покажет. Ступайте пока...

* * *

По крохам доходили в Москву вести, раскрывавшие затаенные намерения тверского князя Михаила. Эти вести прикладывались одна к другой, и уже можно было догадаться, в какую сторону направил свою тверскую ладью князь Михаил Ярославич.

...Во Владимир и в Ростов зачастили тверские послы...

...Князь Михаил Ярославич без положенной чести встретил в Твери владимирского епископа Якова, поставленного при прежнем великом князе и нелюбезного Андрею Городецкому. Епископ Яков покинул Тверь с великой обидой...

...Тверской тысяцкий Михаил Шетский повез татарскую дань со своего княжества не к темнику Ногаю, как раньше, а к ордынскому хану Тохте, и ехал тысяцкий по Волге в одном судовом караване с ростовскими князьями...

Большой боярин Протасий Воронец многозначительно хмурил брови, передавая эти вести князю Даниилу, строил предположения:

— Не иначе, Тверь склоняется к великому князю Андрею!

Но Даниил отвечал неопределенно:

— Повременим, боярин, с решениями. Что еще знаешь?

— Пока что все, княже.

— Повременим. Что-то не больно мне верится в крепкую дружбу Михаила с Андреем. Не нужна Андрею сильная Тверь, а Михаилу всемогущий великий князь — и того меньше. Но за тверскими делами ты все-таки присматривай!

— Присматриваю, княже...

Дальнейшие события как будто подтверждали опасения Протасия.

Месяца ноября в восьмой день князь Михаил Ярославич Тверской обвенчался с дочерью покойного ростовского князя Дмитрия Борисовича, лучшего друга и союзника Андрея Городецкого. Ростовская княжна Анна вошла хозяйкой в новый дворец Михаила Тверского.

А спустя малое время — еще одна многозначительная свадьба. Великий князь Андрей Александрович взял за себя вторую дочь того же ростовского князя — Василису. Тут и недогадливому все сделалось понятным. Андрей и Михаил, пережившие на сестрах, скрепляли союз родственными узами, праздновали завязавшуюся дружбу хмельными свадебными пирами.

Но в Москве от тех пиров только похмелье, тревожные думы да тяжкие заботы. Князь Даниил спешно надстраивал стены городов, собирал ратников в полки, непрестанно спускался с Иваном Переяславским, своим единственным союзником.

И Иван тоже готовился к осаде и войне, умножал сторожевые заставы на владимирских и тверских рубежах, жаловался, что ратников у него мало.

Даниилу были понятны тревоги племянника. Бояться Ивану приходилось даже больше, чем самому Даниилу. Верные люди предупредили, что великий князь Андрей открыто называет Переяславское княжество своей вотчиной, ссылаясь на то, что издревле Переяславль принадлежал старшим в роде, а ныне в роде князей Александровичей старшим он, Андрей. «Надлежит Ивану сидеть не в Переяславле, а в уделе малом, милостью великого князя выделенном...» Каково было такое слышать Ивану?..

И Москва, и Переяславль со дня на день ждали ратного нашествия. И зимой ждали, и весной следующего года, но бог миловал, не допустил братоубийственной войны.

Но не миролюбие великого князя Андрея было тому причиной, а обстоятельства посторонние. Из далекого Киева в северные залесские епархии приехал митрополит Максим, благословляя и наставляя паству свою. Так уж повелось, что во время святых митрополичьих наездов князья усобицы не заводили, считая это за великий грех. Даже самые безрассудные соблюдали тишину.

А великий князь Андрей к тому же жаждал от митрополита Максима превеликой услуги — низложения епископа Якова, который помнил милости его старшего брата и недобро смотрел на нового великого князя Андрея. А иметь такую занозу во Владимире, под самым боком, приятно ли?

Своего Андрей добился. Митрополит Максим свел Якова с владимирской епископии. Но только-только отъехал задаренный на годы вперед митрополит Максим, как у князя Андрея — новая забота. Ордынский хан Тохта призвал его в Орду, пред грозные очи свои.

Пришлось Андрею с молодой княгиней и боярами ехать в Орду, отложив на время все прочие дела. С ханом не поспоришь. За промедление можно не только княжества, но и головы лишиться...

А может, и с охотой отправился великий князь Андрей к хану. Многоопытный Протасий Воронец предположил, что Андрей задумал отобрать у Ивана отчий Переяславль не войной, а ханской волей, ярлыком с золоченой печатью. И князь Даниил согласился со своим боярином:

— А что? Очень может быть, что и так. Перевертышу Андрею не впервой загребать жар ордынскими руками. В воинском деле он неудачлив, Дмитрия победил лишь татарскими саблями. Не дожидаться бы новой Дюденевой рати!

Глава 3

Ордынский посол

1

Подобного на Руси еще не бывало, чтобы великий князь звал на совет меньшую братию свою, а те бы не ехали.

Не бывало, но в лето от сотворения мира шесть тысяч восемьсот четвертое¹ вдруг случилось. Великий князь Андрей Александрович не сумел в назначенное время собрать княжеский съезд.

А поначалу все казалось ему таким простым и легко достижимым!

Андрей вернулся из Орды обласканный, привез ярлыки на спорные города, и дело оставалось за малым: объявить князьям непрекословную волю хана Тохты и спокойно властвовать над Русью!

Во все концы земли Русской разъехались гонцы великого князя: звать удельных владельцев в стольный Владимир, на новое строение мира. Но гонцы возвратились, не привезя желаемого согласия. Нельзя же было считать за согласие неопределенные обещания одних и почти неприкрытое противление других князей?!

Даже верные служебники Андрея — Федор Ростиславич Ярославский и Константин

¹ 1296 год.

Борисович Ростовский — разочаровали. Оба благодарили за честь, оба сообщили, что готовы поспешить во Владимир, но с приездом медлили — ждали, пока соберутся меньшие князья, потому что им, владельцам древних великих городов, приезжать раньше других будто бы зазорно.

А удельные князья, раньше послушные первому слову, будто сговорились: отвечали уклончиво, ссылались на трудности пути по весенней распутице, на неотложные заботы, как будто может быть что-либо неотложнее, чем княжеский съезд!

Подобные ответы, скользкие и призрачные как весенний лед — сожмешь в кулаке, и будто бы твердо, но через минуту протечет водой между пальцами, и нет ничего! — привезли гонцы из Белоозера — от князей-соправителей Федора и Романа Михайловичей, из Углича — от князя Александра Константиновича, из Стародуба — от Ивана Михайловича, из Галича — от Василия Константиновича, из Юрьева — от Ярослава Дмитриевича.

«Сговорились, что ли, князья? — терялся в догадках Андрей. — Но такого не может быть! Каждый удельный владелец живет наособицу, к единению с другими не способен. Может, слабость почуяли в великом князе?»

Предполагать такое было неприятно.

Но не скрытое противодействие удельных князей тревожило Андрея. Знал, что переломить их можно. Мигом прибегут, если пригрозить ратью, потому что измелывали князья, пугливыми стали, слабосильными. И не явная вражда Даниила Московского и Ивана Переяславского была причиной тревоги. С

этими двумя тоже было все ясно: не посольскими речами собирался вразумлять их Андрей, а мечом. И будет так, будет, если соберутся за великим князем остальные князья!

Тревожило другое — Тверь.

Начал замечать Андрей, что тверской князь Михаил старается обособиться от него. А первая трещина в бывшей дружбе пролегла после недавней встречи в Ростове.

Собрались тогда по-родственному: почтить годовщину преставления тестя своего, старого ростовского князя Дмитрия Борисовича. Службу в соборе отстояли, за общий поминальный стол сели, беседовали тепло, сердечно. А чем все кончилось? Только намекнул Андрей, что ждет помощи от Твери в переяславских делах, как вскинулся Михаил, напроць отринул дружеские речи, даже упрекать стал:

— Переяславль — отчина Ивана! С Любечского съезда установлено, что каждый держит отчину свою!¹ Негоже, княже, рушить дедовские обычаи!

За малым дело не дошло до ссоры.

Андрей Александрович решил тогда не настаивать на своем: не время было спорить и не место. Он знал, что и другие удельные князья не одобряют его. Не Ивана, конечно, жалеют, а о своих княжествах заботятся. «Начнет, дескать, великий князь с Переяславля, а каким городом кончит?»

Тогда-то и решил Андрей обойтись без княжеского одобрения, отобрать у Ивана пе-

¹ Съезд русских князей в Любече на Днепре в 1097 году провозгласил принцип наследования князьями владений своих отцов: «каждо бо держит отчину свою».

реяславский удел волей и ярлыком хана Тохты. Задумал и преуспел в задуманном: вот он, ханский ярлык на Переяславль, в его руках!

Но Михаил, видно, догадывался о хлопотах великого князя в Орде. Начал тайно сноситься с Москвой, с новгородскими посадниками. Делал это осторожно, еще сохраняя видимость дружбы с Андреем.

Совсем недавно тайное стало явным, но не по вине Михаила. Верный человек привез Андрею список с грамоты Михаила новгородскому архиепископу Клименту. Цены не было той грамоте! Напоминал в ней Михаил о взаимных обязательствах:

«...то тебе, отче, поведаю: с братом своим со старейшим Даниилом за-один и с Иваном, а дети твои, посадник и тысяцкий и весь Господин Великий Новгород на том крест целовали. А будет тягота мне от Андрея или от татарина, или от иного кого, вам быти со мною, не отступаться от меня ни в которое время. Пришла пора, отче, нашему крестоцелованию...»

Вот оно, оказывается, что! Тверь, Москва, Переяславль и Новгород против великого князя в одной рати!

Как тяжелая каменная глыба, пущенная пороком, вломилась эта весть в благопристойную тишину великокняжеского дворца, переполошила советчиков Андрея, в ключья разорвала сети, которые он хитроумно плел вокруг Переяславля. Да и только ли Переяславля? Речь шла о большем...

«Покарать, покарать неверную Тверь! — неистовствовал Андрей, все еще не смиряясь с тем, что его сокровенные замыслы разгада-

ны и разрушены. Недоумевал: — Почему так случилось? Задумано ведь было хорошо: взять Переяславль и тем самым врубиться, будто острой секирой, между Москвой и Тверью. Тогда оба опасных соперника, Михаил Тверской и Даниил Московский, были бы в моих руках...»

Но покарать Тверь, которую поддерживали другие города, можно было только силой оружия, а силы-то у Андрея было недостаточно. И Андрей решился на злодейское дело, от которого еще недавно сам громогласно отрекался: он послал боярина своего Акинфа Семеновича в Орду за новой татарской ратью.

* * *

Проклятым был на Руси род костромских бояр Тонильевичей.

Семен Тонильевич, тоже боярин князя Андрея и лютый враг его старшего брата Дмитрия, в прошлые годы дважды наводил на Русь татарские рати. Ныне сын его Акинф Семенович за тем же отправился в Орду. И не заслуга Акинфа, что на этот раз большая татарская рать не пришла. Просто время было другое. Ордынскому хану Тохте было не до Руси, связала его по рукам вражда с темником Ногаем.

Но хан Тохта все же не оставил своего верного слугу без поддержки. Две тысячи отборных всадников из личного тумена хана, меняя в пути коней, не останавливаясь на дневки и не рассылая по сторонам обычные летучие загоны для поимки пленных, помчались на север. Повел тысячи не какой-нибудь

безвестный тысячник, обученный лишь конному бою и преследованию в облаве, а посол сильный Олекса Неврюй, который один стоял целого войска, потому что была с Неврюем золотая пайцца¹ хана Тохты, знак высшего достоинства и власти.

— Приведи к повиновению беспокойных русских князей, — напутствовал Тохта своего посла. — Низший должен повиноваться высшему. Андрей повинуется мне, а князья — Андрею. Пусть непокорные трепещут!

— Пусть трепещут! — склонился в покло-не Неврюй.

Однако, получив вместо ожидаемых туменов под свое начало лишь две тысячи войска, Неврюй призадумался.

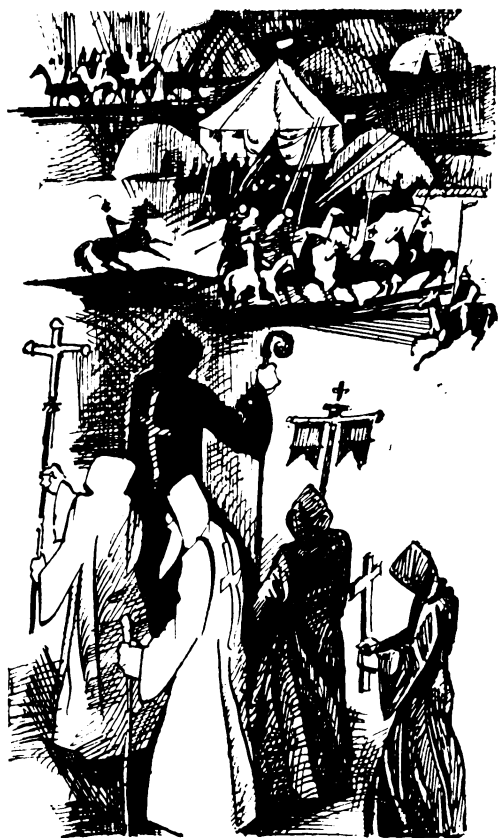
Он знал, что подлинный трепет и страх внушает только сила, только неодолимые своей бесчисленностью конные тумыны. На этот раз силы за ним не было.

И Неврюй отправился за советом к главному битикчи², о котором шла молва, что он досказывает слова хана, не произнесенные вслух, но от того не менее важные.

— Ты мудро поступил, придя ко мне, — одобрил битикчи осторожного посла. — Мне ведомы желанья вознесенного над людьми, и я поделюсь ими с тобой. Не с войной ты идешь на Русь, а с судом ханским. Не только

¹ Пайцца — табличка, выдаваемая ханам Золотой Орды лицу, которое направлялось с их поручениями. Пайцца служила своеобразным удостоверением; различные виды пайцзы (золотые, серебряные, бронзовые, деревянные, с надписями и без надписей) определяли степень полномочий.

² Битикчи — писец ханской канцелярии («дивана»).



грози, но и уговаривай. Мири князей, склоняй лаской. Орде нужно спокойствие на северном рубеже, покамест не сокрушен Ногай. Ханский гнев падет на тебя, посол, если привезешь вместо ожидаемого умиротворения войну с русскими князьями. Война не ко времени. Война с князьями на пользу только Ногаю. Помни об этом, посол...

Неврюй благодарил биткичи за добрые советы, восхищался мудростью и многоопытностью ханского слуги. На прощание тот добавил:

— Возьми с собой епископа Измайло, духовного пастыря здешних христиан. Этот расудительный старец может быть полезен в переговорах с князьями...

* * *

Пригожим июньским утром воинство Неврюя переправилось через реку Клязьму и остановилось лагерем посередине зеленого Раменского поля, напротив Золотых ворот стольного города Владимира.

Тысячи владимирцев, сбежавшихся на городскую стену, с тревогой смотрели, как татары раскидывали свои войлочные юрты и ставили их кольцом вокруг большого белого шатра Неврюя. Отогнав на дальний конец поля табуны коней, татары затаились в своем стане. Только копья караульных покачивались между юртами.

А возле города — оживление. Со скрипом отворились тяжелые дубовые створки Золотых ворот. К татарскому стану двинулись большие телеги, укутанные рогожами: вели-

кий князь Андрей посылал ордынцам условленный обильный корм. Из порога в ордынский стан и из стана в город резво пробегали на сытых лошадях бояре и тиуны. Неспешно прошествовали с иконами и хоругвями монахи Рождественского монастыря, покровителем которого считался сарайский епископ Измайло. Черные рясы монахов скрылись в кольце юрт.

На следующее утро из всех ворот стольного города Владимира — Золотых, Оришиных, Серебряных, Волжских — выехали великокняжеские гонцы.

Возле города к гонцам присоединялись доверенные нукеры¹ посла Неврюя. Дальше ехали вместе, стремя в стремя: гонец великого князя Андрея и татарин в шубе мехом наружу, в войлочном колпаке с нашитыми на него красными шариками — знаком ханского гонца. А рядом с дружинниками-охранителями гонца поскакивали на лохматых низкорослых лошадках ордынские воины с луками за спиной, с копьями и кривыми саблями.

2

К Москве гонцы подъехали в день Петра-капустника², когда по обычаю бабы на огородах высаживали в землю последнюю рассадку. С огородов и начиналась Москва: они тяну-

¹ Нукеры (в переводе с монгольского — друзья, товарищи) — дружинники хана и кочевых феодалов, часто выполнявшие ответственные поручения или служившие личными телохранителями; из нукеров обычно назначались десятки и сотни ордынского войска.

² Петр-капустник — 12 июня.

лись по обе стороны Великой Владимирской дороги.

Вокруг было тихо, тепло, благостно. Белые, желтые, красные бабы платки пестрели, как цветы на лугу. Копыта коней беззвучно опускались в дорожную пыль. Негромко перекликивались на Великом лугу пастушеские рожки. Празднично поблескивали на солнце купола кремлевских соборов.

Дорога незаметно перешла в посадскую улицу. Застучали под копытами сосновые плахи мостовой. Прохожие испуганно прижимались к частоколам, пропуская чужих всадников.

Неподалеку от Богоявленского монастыря поперек улицы были поставлены рогатки — застава. Седенький мытник и караульные ратники, разинув от изумления рты, смотрели на страшных обличьем татарских воинов.

Великокняжеский гонец крикнул угрожающе:

— Освобождай дорогу! Гонцы от великого князя Андрея Александровича и посла сильного Неврюя!

Ратники засуетились, растаскивая рогатки. Один из них вскочил на коня, привязанного тут же, к крыльцу посадской избы, и понесся, барабана босыми пятками в лошадные бока, к Кремлю.

Весть о прибытии гонцов застала князя Даниила врасплох.

О том, что какое-то ордынское войско двигалось к русским рубежам, в Москве уже знали. Знали и то, что войско это будто бы небольшое, идет без обозов — изгоном. Можно было предположить, что некий беспокой-

ный мурза замыслил набег. Подобные набег в последнее время, с тех пор, как в Орде начались свои усобицы, случались нередко: хан Тохта уже не мог, как прежде, держать в руках улусных мурз.

Но обычно мурзы со своими малыми ордами шарпали по окраинам, дальше Оки-реки не заходили. Да и зачем мурзам посылать впереди себя гонцов? Мурзы искрадывали русские украинны тишком, яконочные тати...

Но времени для раздумий не оставалось. Ордынцы вот-вот будут у ворот Кремля. Князь Даниил кивнул дворещкому Ивану Клуше:

— Поди, боярин, встретить честью. Скажи, чтобы передохнули с дороги, поестолувались. Да медов, медов не жалей!

Иван Романович Клуша затопал к дверям, являя ревностное проворство, столь необычное при его дородстве и медлительном нраве.

— Зовите боярина Протасия, тысяцкого Петра, Геронтия, — распоряжался Даниил. — Да толмача Артуя не забудьте, может понадобится. Мне одеться подайте, что лучше...

Подходили думные люди: запыхавшиеся, тревожные.

Боярин Протасий Воронец прямо от порога начал:

— Не к добру это! Не иначе новая Андреева выдумка!

Князь Даниил, натягивая поверх домашней холщовой рубахи синий фряжский кафтан с золочеными пуговицами, проговорил сквозь зубы:

— Поглядим... Чего заранее загадывать?

— Выпытать бы у послов, пока бражничают, зачем приехали... Да обговорить все самим заранее...

— О том я и сказал боярину Ивану...

Тысяцкий Петр Босоволков важно кивнул головой, соглашаясь.

В горницу вкатился дворецкий Клуша. Испуганно тараща глаза, зашептал князю, что послы упрямятся, в столовую палату не идут, но неотступно требуют, чтобы говорили с ними тотчас...

— Ну что ж, раз требуют — поговорим! — согласился Даниил. — Не со спора же начинать? Веди гонцов в посольскую горницу. Да не торопись особенно, окольным путем води...

Наскоро обговорили между собой, что прием будет малый, без лишних людей. Князь Даниил широко перекрестился:

— Ну, с богом!

* * *

Посольская горница Даниила Московского была не слишком просторной, но богатой. На полу расстелен цветастый ковер. Стены увешаны драгоценным оружием, своими и чужими стягами, а среди них, на почетном месте — бунчук из хвоста рыжей кобылы, отбитый москвичами у ордынского царевича на Оке-реке. Княжеское кресло тоже было богато, из резного мореного дуба, с серебром и рыбьим зубом¹, на высокой спинке — московский

¹ Рыбий зуб — моржовые клыки.

герб; яростный всадник, поражающий копьём змия.

Даниил Александрович уселся в кресло, положил на колени прямой дедовский меч. Меч не был обнажен и мирно покоился в красных бархатных ножнах, окованных серебром. Неизвестно еще было, с чем прибыли гонцы, и показывать им непримиримость голым оружием было неразумно.

За княжеским креслом стояли четыре дружинника в нарядных кольчугах, в легких шлемах. Это тоже продумано. Четырех телохранителей для чести довольно, а больше не надобно. Не врагов явных встречает московский князь!

Слева от князя, тоже в кресле, но — поскромнее, пониже, с резным крестом на спинке, — пристроился архимандрит Геронтий. Раса у архимандрита черная, как воронье крыло, а на сукно нашиты пугающие белые кресты, знак высокого духовного сана.

На скамейке, покрытой красным сукном, сели рядышком думные люди: большой боярин Протасий Воронец, Петр Босоволков, воевода Илья Кловыня.

Князь Даниил окинул взглядом горницу. «Точно бы все на месте!» И почти тотчас дворецкий Клуша распахнул двери, посторонился, пропуская гонцов.

Первым шагнул в горницу великокняжеский гонец. Сорвал с головы шапку, поклонился, коснувшись кончиками пальцев ковра, — большим уставным поклоном.

Москвичи узнали гонца, многозначительно переглянулись. Сын боярский из Костромы Воюта Иванов, верный пес князя Андрея! Та-

кого с лаской не пошлют, уж больно злобен!

Ордынский гонец вошел, неслышню ступая мягкими — без каблуков — сапогами, столбом встал посередине горницы. Колпака не снял, князю не поклонился: истукан истуканом! Скользнул равнодушным взглядом по развешанному оружию, по стягам. На мгновение задержал взгляд на рыжем царевичевом бунчуке, недобро усмехнулся и снова замер, окаменев лицом.

Следом за ордынским гонцом, отталкивая локтями дворецкого, протиснулось в горницу несколько татарских воинов в засаленных халатах и шубах. Остановились кучкой у двери, сжимая рукоятки кривых сабель.

За спиной Даниила шевельнулись телохранители, звякнуло железо доспехов. Протасий Воронец побледнел, наклонился вперед, собираясь подняться, но Даниил остановил его взглядом. Тихо произнес, обращаясь к великокняжескому гонцу:

— С чем приехал?

Боярский сын Воюта Иванов приблизился, еще раз отвесил поклон, начал важно, значительно:

— Слово господина моего великого князя Андрея Александровича. Приди, брате, ко мне во Владимир. Посол сильный Олекса Неврюй именем ханским рассудит твое и мое дело. Приди немедленно, ибо на то воля моя и посла ханского...

Москвичи молчали.

Ордынский гонец поглядывал в оконце, за которым на пребне кремлевской стены насккивали друг на друга два голубя — белый и сизый.

Великокняжеский гонец продолжал говорить, повышая голос:

— На сказанном господин мой Андрей Александрович стоит крепко! Не слушаешь слова его — быть промеж вас рати!

— Москва рати не боится! — по-прежнему тихо и спокойно ответил Даниил. — Ратью на строение мира не зовут. Не по принуждению приеду на княжеский съезд, но по своей воле, почитая брата старейшего. Приеду, когда время настанет...

— А настало время-то, настало! — напирал гонец великого князя. — Так и передать мне велено: время-де настало!

— Подумаю с боярами и сообщу о решенном...

Воюта Иванов приостановился, как бегун перед опасным прыжком, сверкнул ненавидящими глазами и, решившись, выкрикнул последнее:

— Велено мне, не ожидаячи, привезти твое первое неложное слово! Гнев ханский и великокняжеский на тебе, княже, за промедление твое!

И опять крики Андреева гонца растворились в мертвом молчании москвичей.

Тогда вмешался наконец ордынский гонец. Он вдруг завопил — резко, визгливо. Выхватил откуда-то серебряную дощечку пайцзы и высоко поднял над головой.

Все замерли, затаив дыхание.

Воюта Иванов отступил назад, будто собираясь спрятаться за спину татарина. Он уже отговорил свое. Теперь серебряной пайцзой заговорила Орда!

К татарскому гонцу осторожно приблизил-

ся толмач Артуй, впился глазами в письмена на пайцзе. Подвывая и закатывая от почти-тельности глаза, перевел прочитанное:

«Силою вечного неба. Покровительством высокого могущества. Кто не будет относиться с благоговением к слову Тохты-хана, тот подвергнется ущербу и умрет. Слово гонца — слово Тохты-хана...»

Князь Даниил медленно поднялся, склонил голову перед грозной ханской волей, вчерканенной чужими письменами в серебро. С серебряной пайцзой спорить не приходилось. И за меньшую вину ордынцы обдирали кожу с князей и бросали тело на съедение диким зверям. Оставалось только повиноваться...

Татарин повернулся на пятках и мягко, по-звериному, скользнул к двери. Следом вывалились за порог его воины: кучкой, как стояли до этого. Перед москвичами остался только посол великого князя Андрея.

— Что прикажешь передать господину моему?

И Даниил ответил:

— Передай, что приеду...

3

Облачка пыли, как гонимая суховеем степная трава перекаати-поля, побежали над дорогами. Спешили гонцы из Москвы в Тверь, из Твери в Переяславль, из Переяславля в Москву, и снова из Москвы в Тверь, невидимыми нитями связывая князей-союзников.

Накануне дня Аграфены-купальницы¹, когда добрые христиане парятся в банях и с

¹ 23 июня.

песнями окунаются в летние воды, московские и тверские дружины сошлись возле Переяславля, простояли ночь в поле за рекой Трубеж и пошли дальше, присоединив к себе переяславскую конницу.

Конное войско князей двигалось походным строем. Посередине, в большом полку — Михаил Тверской, в полку правой руки — Даниил Московский, в полку левой руки — Иван Переяславский. И не понять было, на мирные переговоры следуют князья или на битву, — такой многочисленной была рать и так оберегали ее со всех сторон крепкие сторожевые заставы.

Еще одна рать — пешая, судовая — побегала к городу Владимиру по Клязьме. Задумана была эта рать как потаенная, на крайний случай. Лады плыли ночами, а днем прятались в безлюдных местах, в заводях и в устьях малых речек.

Даниил Московский, Михаил Тверской и Иван Переяславский приехали к Владимиру позднее остальных князей. Почти все просторное Раменское поле было уже занято воинскими станами.

На левом краю поля, примыкавшем к речке Лыбедь, разместились удельные князья. Их разноцветные шатры стояли как будто бы кучно, но если приглядеться — каждый наособицу, каждый в кольце обозных телег, каждый под своим княжеским стягом, вокруг каждого свои отдельные караулы.

Возле самой городской стены поставили свои богатые шатры Федор Ярославский и Константин Ростовский, даже местоположением своим являя тесную дружбу с великим

князем Андреем. Их многолюдные станы как бы прикрывали стольный Владимир от возможных врагов.

А посередине поля, в удалении от тех и от других, притаился за черными юртами и густыми цепями лучников ордынский посол Олекса Неврюй.

Только правый край поля, между Волжскими воротами и пригородным Вознесенским монастырем, оставался свободным. Этот край упирался в обрывистый берег реки Клязьмы, и князь Даниил порадовался, что вовремя послал по реке судовую рать. Без ладей это место было опасным, отбежать некуда...

Князь Даниил поднялся на курган, насыпанный у речного берега в незапамятные времена вятичскими старейшинами, окинул взглядом поле.

«Будто на рать собрались князья, — подумал он. — Все пришли с большими полками, обгородили станы свои надолбами да рогатками...»

Но кто с кем будет на этом поле ратоборствовать?

Выходило, что все против всех. Желания собравшихся здесь князей были настолько противоположными, что ни о каком единении не могло быть и речи!

Великий князь Андрей Александрович мечтал подмять под себя западные города, поднявшиеся за последние годы: Тверь, Москву, Переяславль.

Московский, тверской и переяславский князья хотели оборониться от великого князя и обессилить его, лишить подлинной великокняжеской власти.

А остальные удельные князья не желали ни того, ни другого. Им одно было любо: чтобы оставили в покое их глухоманные удельные берлоги. Как это говаривал на людях Василий Константинович Галицкий и Дмитровский, старейший из удельных князей? «Противоборствовали раньше Андрей со старшим братом своим Дмитрием — хорошо. Противоборствует нынче Андрей с младшим братом своим Даниилом, с племянником Иваном да с тверским родичем своим Михаилом — тоже неплохо. И у Андрея руки связаны, и у тех сильных князей. Возблагодарим бога, братия, за милость сю! До скончания века было бы так! Новизна пагубна, за старину держаться надобно. Аминь...»

Ни к великому князю не пристанут удельные князья, ни к соперникам его!

Значит?

Значит, дело все в ханском после Неврюе!

А ханский посол забился, как медведь в берлогу, в свой белый шатер и молчал. Принимал от всех подарки, и опять молчал. Но если хорошенько подумать, то и по молчанию посла можно догадаться, с чем он приехал на Русь...

«Войско сильное есть за Неврюем? — прикидывал Даниил. — Как видно, нет сильного войска. В юртах больше тысячи-двух воинов не спрячешь. Значит? Значит, посол не воевать приехал. А если не воевать? Если не воевать, то мирить князей. Значит, можно поторговаться, война послу Неврюю не нужна...»

Так думал князь Даниил или не совсем так, кто знает? Но Михаилу и Ивану он сове-

товал держаться перед ханским послом уверенно:

— Андрей нас к суду перед ханским послом притянуть хочет, а мы ответно его неправды покажем! Еще неизвестно, на чью пользу суд перед послом обернется!

* * *

Шатер посла Неврюя — просторный, выложенный пушистыми коврами — тоже был подобен ратному полю, на котором каждый из противников знал свое место.

Посередине шатра, на широком ложе, в шелковых подушках, подпиравших его короткое, закутанное в полосатый халат туловище, — половецкой каменной бабой застыл посол Олекса Неврюй. На круглом желтом лице не глаза — щелочки, да и те прикрыты веками. Не поймешь даже — то ли дремлет посол, то ли просто не желает глядеть на беспокойных русских князей.

Тихохонько сидят на резных стульчиках чернецы-миротворцы, владимирский епископ Семен да сарайский епископ Измайло. Оба иссохшие, неземные, отрешенные, на лицах — благодетельность, снисхождение к суетности мирских дел. Будто с иконы сошли — святые угодники по виду...

По правую руку от посла — великий князь Андрей Александрович и его первые служебники Федор да Константин. Грозно хмурят брови, под кафтанами — леживые складки кольчуг, у пояса боевые мечи.

А по левую руку — Даниил Московский и Михаил Тверской. Стоят плечо в плечо, буд-

то братья единокровные, оба молодые еще, рослые, светловолосые, решительные, как поединщики перед боем. И Иван Переяславский возле них, на полшага лишь отстал. Но так оно точно бы и полагалось: ведь Иван среди них младший. На бледном лице Ивана отчаянная решимость человека, перешагнувшего через свой страх и готового на любой, даже безрассудный по смелости поступок. Даниил еще не видел таким своего слабого племянника и поразился. Хорошо защищать того, кто сам готов себя защитить, как сегодня Иван...

А поодаль от соперников, возле самого входа, молчаливая кучка удельных владетелей. Стоят тихо, почтительно, всем видом своим являя, что люди-де они малые, сторонние, как старшие князья решат, с тем и согласятся. Будто бы есть они в шатре, но будто бы и нет, столь смиренны...

На удельных князей никто и не смотрел. Все взгляды на Андрее, на Даниила, на Михаила Тверском. Это они собрались спорить перед презрячим, окаменевшим Неврюем.

Андрей кричал, взмахивая кулаками, наматывал действительные и мнимые вины, звал бога в свидетели, и снова сыпал проклятиями, но крики его как бы проходили мимо ушей Даниила. Не в обличениях было дело. Вмешиваться в межкняжеские счеты ханскому послу недостойно, вот Неврюй и делает вид, будто дремлет. Seriously другое: ярлык хана Тохты на Переяславль. Но до ярлыка Андрей еще не дошел, приберегал на конец...

Даниил молча смотрел на разгневанного старшего брата. «Постарел братец, поусох... Клыки как у волка выперли... А злости-то, злости... Так бы и проглотил живьем... Да не проглотишь Москву, нет, уже не проглотишь... Костью поперек горла встанет!..»

Рядом шумно дышал Михаил Ярославич Тверской, сжимал побелевшими пальцами рукоятку меча. Переступал с ноги на ногу Иван — присмиривший, растерянный. Ненадолго же хватило племяннику задора!

— Но больше того вина Даниила и Михаила, что непокорны воле царя ордынского, к ярлыку со смирением не идут, но делают поперек! — взвизгнул голос до визга великий князь Андрей.

Посол Олекса Неврюй приподнял веки, уставился неживым давящим взглядом на московского и тверского князей. Что-то сейчас будет?

Даниил решительно шагнул вперед, поклонился послу:

— Велик и справедлив хан Тохта! Великий и справедливый не карает невинных! Князь Андрей добыл ярлык неправдою, без наследника Ивана. Да выслушает хан другую сторону! Пусть рассудит в глаза, а не за глаза, как судят справедливые! А мы, покорные слуги великого хана, волю его исполним непрекословно!

— Пусть великий хан допустит Ивана пред очи свои и рассудит правду! — поддержал союзника Михаил Тверской.

Так были сказаны слова, которыми Даниил надеялся разрушить замыслы великого князя Андрея, а если и не разрушить, то на-

долго отсрочить их исполнение. Путь в Орду не близкий, когда еще вернется оттуда Иван!

Понял это и великий князь Андрей. Вспылив окончательно, он потянул из ножен меч. Следом за ним обнажили мечи князя Федор и Константин, медленно двинулись на Даниила.

С поднятыми вверх крестами встали между противниками епископы Семен и Измайло:

— Опомнитесь, князья! Грех смертный! Не бывало крови на съездах княжеских! Не берите кровь на душу свою!

— Посторонись, отче! Твое дело духовное! — выкрикивал Андрей, пытаясь оттолкнуть епископа Семена.

— Опомнись, княже!

Посол Олекса Неврюй неслышительно повел указательным пальцем.

Ордынский сотник, до этого безучастно сидевший в углу, ударил плетью по медному кругу.

Из-за развешанных ковров, из-за сундуков, стоявших вдоль стен шатра, из-за откинутых позади посольского кресла полосатых пологов выскочили нукеры, скрутили локти князьям-соперникам, растащили их в стороны.

Удельные владетели качнулись было к выходу, но там тоже стояли татарские воины.

По знаку Неврюя нукеры отпустили князей и снова исчезли, будто растворились в стенах шатра.

Ханский посол заговорил тихо, почти шепотом, но слова его, повторенные громогласным половчинником-толмачом, оглушали своей размеренной значительностью:

— Ссора недостойна правителей, больших и малых... Обнаженный меч должен разить... Иначе меч покрывается позором... Тохта-хан справедлив и милостив... Он не будет наказывать князей за недостойную ссору... Дайте хану подарки сверх прошлых, и ссора будет прощена... Пусть князья слушают великого князя Андрея... Пусть князь Андрей не обижает их несправедливостью... Не послушавшие сего погибнут... Пусть князь Иван идет в Орду, сам просит хана о своем княжестве... Я все сказал...

Посольский битникчи протянул Ивану серебряную пайцзу.

— Поторопись, княже! — крикнул Даниил племяннику. — Отъезжай в Орду немедленно. В ладьях поезжай, Волжским путем. Мы с князем Михаилом побережем до суда твою отчину...

Иван, оглядываясь то на Даниила, то на ханского посла, направился к выходу. Татарские воины расступились, пропуская его.

Долго еще говорили князья перед лицом сонного Неврюя, распределяя жребии ордынской дани, устанавливая сроки сбора серебра. Но говорили как-то лениво, пререкались больше по привычке, чем из-за дела. Главное было уже решено: великий князь Андрей Александрович проиграл, Переяславское княжество опять уплывало из его рук. Даже на угрозу великого князя, гневно брошенную им в лицо Даниила: «Не радуйся, не кончен спор!» — мало кто обратил внимание. Князья торопились разъехаться по своим удслам, не скрывая облегчения. «Слава те господи, осталось все по-прежнему!»

Опустело Раменское поле.

Первыми ушли москвичи и тверичи, к которым присоединилась по дороге переяславская конная рать. Сам князь Иван поехал в Орду с малой дружиной, оставив большие полки беречь город.

Даниил не забыл угрозы великого князя Андрея. Московские, тверские и переяславские полки, не расходясь по селам, свернули к Юрьеву и остановились в поле, прикрывая Переяславское княжество. Сюда же приплыла рекой Колокшей пешая судовая рать.

Предосторожность оказалась не напрасной.

Не прошло недели, как сторожевые заставы известили о приближении великокняжеского войска.

Без малого дело не дошло до сечи. Уже и поединщики сшиблись промеж полков, и лучники расстреляли первый запас стрел. Но дрогнул великий князь Андрей, видя решимость москвичей, тверичей и переяславцев, дождался ночи и в темноте отбежал прочь, бросив в стане своем горящие костры.

Узел вражды затянулся еще туже.

Глава 4

Слава Довмонта Псковского

1

Орда далеко от Москвы, за немеренными лесами и пыльными равнинами Дикого Поля, но зловещая тень ее незримо повисла и над московской землей.

Чуть зашевелится Орда, и будто раскаты грома катятся над Русью, и мечутся люди, пытаясь понять, что означают эти раскаты — глухую угрозу, которая, попугав, пройдет стороной, или новую опустошительную татарскую рать.

Но в лето шесть тысяч восемьсот седьмое¹ ордынские вести больше радовали, чем тревожили. В Орде началась великая замятня, война усобная. В смертельном поединке схлестнулись хан Тохта и темник Ногай.

Давно уже была между ними вражда, но до явной войны дело не доходило. Соперники выжидали, присматриваясь друг к другу всепроникающими глазами тайных соглядатаев, сплетали нити заговоров. Время работало на хана Тохту. Исподволь таяла сила Ногай, уходили со своими ордами близкие ему эмиры, в войске властолюбивого темника началось шатание. И наконец хан Тохта решил, что его час пробил.

Шестьдесят туменов ханского войска двинулись в Дешт-и-Кипчак, коренной улус темника Ногай. На берегу степной речки Тарки

¹ 1299 год.

сошлись две немыслимые по своей многочисленности ордынские рати—Тохты и Ногай. Содрогнулась степь, пылью заволокло небо, когда началась эта битва.

Военное счастье впервые изменило темнику Ногаю. Под ударами отборных всадников хана Тохты, закованных в персидскую броню, смешались и рассыпались кипчацкие тысячи Ногай, слывшие непобедимыми, а сам Ногай побежал, увлеченный отступавшей конницей. За немногие часы он потерял все, даже своих нукеров-телохранителей, и остался в степи один, как безродный изгой.

Беззвездной ветреной ночью Ногай настиг некий русский из войска Тохты, отсек ему голову мечом и привез хану. Так закончил жизнь темник Ногай, перед которым трепетали ханы и императоры, дружбы с которым искали даже мамлюкские султаны далекого Египта.

А для князя Даниила Московского смерть темника Ногай открыла долгожданные возможности. Рязанский князь Константин Романович удерживал за собой волости по Москве-реке лишь милостью и благорасположением Ногай. Теперь Константину надеяться не на кого!

И еще одно оказалось кстати для Москвы. Спасаясь от гнева хана Тохты, в Рязанское княжество прибежали со своими ордами некоторые мурзы Ногай. Князь Константин выделил им дворы в городах и земли под пастбища. Оттого умножились ордынцы в Рязанском княжестве, и начали роптать рязанцы на своего князя, что-де он привечает ордынцев, а о своих людях забыл...

А в других княжествах заговорили, что Константин-де готовит новую ордынскую рать. Выходило теперь, что воевать с Константином Рязанским — дело богоугодное, оправданное, ибо война та будет не усобной, но ради защиты христиан от неверных ордынцев, на Рязани поселившихся...

Так и намекнул на княжеском совете большой воевода Илья Кловыня:

— Если соберемся с Рязанью воевать, то надобно объявить людям, что против ордынцев идем, на русскую землю севших...

— Объявим, когда время придет. А пока — рано... — задумчиво проговорил Даниил и, заметив удивленные взгляды, повторил решительно: — Рано!

Даниил Александрович хорошо понимал недоумение своих думных людей. Москве уже тесно в прежних границах, распирала их молодая буйная сила! Раздвигать нужно московские рубежи! Говорено о том было не раз и не два, и бояре вспомнили эти разговоры. Но нужно быть осторожным. Тверь с севера нависла. Не воспользуется ли князь Михаил, дружба с которым уже обернулась соперничеством, уходом московского войска на Оку? Не вмешается ли великий князь Андрей, для которого усиление Московского княжества горче горького? Нельзя начинать войну без верных союзников. А где их найти, верных-то?

И мысли Даниила опять возвращались к князю Довмонту Псковскому.

Выходец из Литвы, ставший на службу славному городу Пскову, князь Довмонт был верным человеком. Жизнь его была прямой,

как взмах меча, и — как разящий удар — однозначна. Довмонт любил повторять: «Враг — это враг, а друг — это друг, даже если дружба оборачивается смертельной опасностью, потому что обмануть друга — то же самое, что обмануть самого себя, а обманувшему себя — как жить?» Повторял не для себя, а для других, потому что для самого Довмонта сказанное было бесспорным — так он жил...

Весь смысл жизни Довмонт видел в защите города, вверившего ему свою судьбу. Под знаменем князя Довмонта псковские ратники громили немецких рыцарей, и летописцы, извещая о победах Довмонта, неизменно добавляли, что воевал он за правое дело.

Случалось, что имя Довмонта надолго исчезало из летописей. Но это молчание было красноречивее иных слов. Оно означало, что немецкие железноголовые рати, уstraшившись меча Довмонта, на время оставляли в покое псковские рубежи.

Многие князья добивались расположения прославленного псковского воителя, но князь Довмонт неизменно оставался в стороне от междоусобных распрей. Так и состарился, не осквернив свой меч кровью русских людей. Из уст в уста передавали на Руси гневные слова Довмонта, обращенные к искателю чужого великокняжеского стола Андрею Городецкому: «Как можно обнажать меч в собственном доме?!»

Даниил Александрович знал, что князь Довмонт любил его старшего брата Дмитрия и перенес частицу этой давней любви на него, Даниила: посылал подарки, переправлял

С верными людьми тайные грамотки о новгородских делах, если посадники задумывали что-либо худое для Москвы. Но Даниил знал и то, что никакая любовь не заставит Довмонта вмешаться в междоусобные распри. Довмонт есть Довмонт!

Но, может быть, теперь, когда поход на Оку-реку оборачивается войной с ордынцами, наполнившими с благословения князя Константина рязанские земли, Довмонт изменит своему обычаю и поможет Москве?

Нужно, нужно связываться с Довмонтом!

Время для дружественных переговоров с псковским князем казалось самым подходящим. Не далее как зимой из Пскова в Москву прислали грамоту, писанную книжными словами; видно, приложил к той грамоте свою руку монах-летописец, привыкший облекать мысли свои в торжественные словосочетания:

«...пришли немцы ко Пскову и много зла сотворили, и посад пожгли, и по монастырям, что вне града, всех чернецов мечами иссекли. Псковичи со князем своим Довмонтом, укрепившись духом и исполчившись ратью, из града вышли и прогнали немцев, нанеся им рану немалую, прогнали невозвратно...»

Все было верно в этой грамоте, кроме последнего: немцы возвратились и весной сызнанова опасно зашевелились возле псковских рубежей. И Даниил подумал, что если послать в помощь Пскову московскую дружину, дружба с князем Довмонтом окрепнет и его можно склонить к участию в рязанском походе. Нужно только убедить Довмонга, что не с рязанцами собирается воевать московский князь, но с ордынскими мурзами, такими же

злыми погубителями Русской земли, как немцы...

И Даниил Александрович приказал воеводе Илье Кловыне готовить конную дружину к походу во Псков.

Но московская помощь опоздала...

2

В весну шесть тысяч восемьсот седьмую, в канун Герасима-грачевника¹ черные немецкие ладьи снова появились возле Пскова. Ночью они проплыли рекой Великой мимо неприступного псковского Крома и приткнулись к берегу у посада, огражденного лишь невысоким частоколом.

Коротконогие убийцы-кнехты, не замеченные никем, переползли через частокол и разошлись тихими ватагами по спящим улицам. Посадских сторожей они вырезали тонкими, как шило, ножами-убивцами, подпуская в темноте на взмах руки.

Крались, будто ночные тати, вдоль заборов, накапливались в темных закоулках.

Первыми почуяли опасность знаменитые кромские псы, недремные стражи Пскова. Они ошетинились, заскулили, просовывая лобастые волчьи головы в щели бойниц.

Десятник со Смердъей башни заметил легкое шевеление под стеной, запалил факел и швырнул его вниз. Разбрызгивая капли горячей смолы, факел прочертил крутую дугу, упал на землю и вдруг загорелся ровным сильным пламенем.

¹ 4 марта 1299 года.

От стены Крома метнулись в темноту какие-то неясные тени, отсвечивающие железом, донесся топот многих ног.

Чужие на посадe!

Будоража людей, взревела на Смердьей башне труба. К бойницам побежали, стягивая со спины луки, караульные ратники. Из дружинной избы, которая стояла внутри Крома у Великих ворот, выскакивали дружинники и проворно садились на коней.

Оглушающе затрезвонил большой колокол Троицкого собора, и почти тотчас, как будто только и ожидая набатного звона, в разных концах посада вспыхнули пожары.

На посадские улицы выбегали полуодетые, ошалевшие от сна и внезапности люди. Бежали, размахивая руками, падали, сраженные немецким железом, отползали со стенами в подворотни.

«Господи! Кто? За что? Господи, спаси!»

Кто посмелее, сбивались в ватаги, ошенивались копьями и рогатинами, пробивались к Кромy, чтобы найти спасение за его каменными стенами. Им преграждали дорогу кнехты, похожие в своих круглых железных шапках на грибы-валуи.

И истаивали ватаги посадских людей под ударами, потому что кнехтов было много, так много, что казалось — весь посад переполнен ими...

Горестный тысячеустый стон доносился до ратников, стоявших у бойниц Пёрши¹. Будто

¹ Пёрша — южная стена каменного псковского Крома — кремля, которая выходила к посаду между реками Великой и Псковой.

сама земля взывала о помощи, и нестерпимо было стоять вот так, в бездействии, когда внизу гибли люди...

На Смердью башню поднялся Довмонт, поддерживаемый с двух сторон дюжими холопами-оберегателями; третий холоп тащил следом простую дубовую скамью.

Князь Довмонт присел на скамью, поплотнее запахнул суконный плащ — ночь была по-весеннему студеной. Седые волосы Довмонта в дрожащем свете факелов казались совсем белыми, глубокие тени морщин избороздили лицо, руки бессильно опущены на колени.

Трудно было поверить, что этот старец олицетворял для Пскова воинскую удачу.

К князю подскочил псковский тысяцкий Иван Дорогомилов, предводитель пешего ополчения, зашептал умоляюще:

— Всех посадских побьют, княже! Неужто допустим такое?!

Князь Довмонт молчал, прикрыв ладонью глаза.

Никто лучше Довмонта не знал сурового закона обороны города. А закон этот гласил, что нельзя отворять ворота, когда враги под стенами, потому что главное все-таки город, а не посад.

Лучше пожертвовать посадом, чем рисковать городом. Нет прощения воеводе, который допустил врагов в город, сердобольно желая спасти людей с посада. Большой кровью может обернуться такая сердобольность...

Молчал Довмонт, еще не находя единственно правильного решения, прикидывал про себя.

«Главное — бережение града, — думал старый князь. — Никто не осудит меня за осторожность. Но не позор ли оставить без защиты беззащитных? Можно ли на склоне жизни принимать на душу подобный тяжкий грех?..»

Задыхался в дыму посад, метался в мученическом терновом венце немецких копий, истекал кровью.

«Почему я медлю? — мучился Довмонт. — Неужели с годами уходит решимость? Я, всю жизнь отдавший защите Пскова, медлю спасать гибнущих людей его?..»

Пронзительный женский крик донесся из темноты, поднялся на немыслимую высоту и вдруг оборвался, как обрезанный.

«Но удача — сестра смелости! Без смелости не бывает победы! А без победы — ради чего жить дальше?»

Князь Довмонт рывком поднялся со скамьи, досадливо оттолкнул локтем кинувшихся помогать холопов, крикнул неожиданно звонким, молодым голосом:

— Выводи конную дружину, тысяцкий! За ворота!

Иван Дорогомилов с посветлевшим лицом кинулся к лазу винтовой лестницы. За ним стремительно покатались вниз, царапая кольцами доспехов тесно сдвинутые каменные стены, сотники конной дружины.

Довмонт опять сел на скамью и замер, весь — напряженное внимание...

Страшен ночной бой в переплетениях посадских улиц, затиснутых между глухими ча-



стоколами, на шатких мостках через ручьи и канавы, избороздившие посад. Страшен и непонятен, потому что нельзя даже разобрать, кто впереди — свои или чужие, кого рубить сплеча, не упуская мгновения, а кого брать под защиту.

Своих псковские дружинники узнавали по белым исподним рубашам, потому что посадские люди, застигнутые врасплох, выбегали из дворов без кафтанов, простоволосые, босые. Своих узнавали по женскому плачу и испуганным крикам детей, потому что посадские люди пробивались к Кромю вместе с семьями. И погибали вместе, если топоры и рогатины не могли защитить их от кнехтов.

Чужих распознавали по отблескам пламени на круглых шлемах, по лязгу доспехов, по тому, как отшатывались они, заметив перед собой всадников с длинными копьями в руках.

Дружинники опрокидывали немецкие заслоны, пропускали через свои ряды посадских беглецов и ехали дальше, пока еще слышны были впереди крики и звон оружия, а это значило, что там еще оставались свои люди, ждавшие спасения...

Князь Довмонт с высоты Смердьей башни слушал бой.

Именно слушал, потому что нельзя было увидеть ничего в дымной мгле, окутавшей посад.

Шум боя удалялся, слабел и наконец затих. Что это значило, Довмонт знал и без докладов дружинных сотников: псковская конница прошла посад из конца в конец, и все, кто остался в живых из посадских людей,

были уже за ее спиной. Пора отводить дружины, пока немцы не отрезали их от города.

Князь Довмонт приказал трубить отступление.

В распахнутые настежь Великие и Смердьи ворота Крома вбегали люди. Спотыкаясь и путаясь в длинных ночных рубахах, семенили женщины с ребятишками на руках. Мужчины несли на плечах раненых, волокли узлы с добром.

Немного осталось их, спасенных от немецкого избиения, и несоразмерно высокой могла оказаться цена, заплаченная за их спасение!..

Довмонт понимал, как это трудно — отстоять ворота, если кнехты пойдут по пятам дружинников. Главное — выбрать миг, когда кнехты остановятся, а до ворот останется один рывок дружинных коней...

Снова доносился с посада шум боя, но теперь он не удалялся от Крома, а приближался к нему, ширился, нарастал. И вот уже видно с башни, как пятятся дружинники из посадских улиц, сдерживая копьями напиравших кнехтов.

Князь Довмонт кивнул трубачу:

— Пора!

Коротко и резко прокричала труба.

Псковские дружинники разом повернули коней и поскакали к перекидным мостам через Греблю¹, отрываясь от пеших кнехтов. Не задерживаясь, всадники проскальзывали в во-

¹ Гребля — глубокий овраг у подножия Перши, отделявший псковский кремль от посада. Гребля заменяла крепостной ров и тянулась от берега реки Великой до берега Псковы.

рота, сворачивали в узкий охабень¹ и накапливались там, чтобы грудью остановить врага, если кнехты — не приведи господи! — успеют вбежать под воротную башню раньше, чем закроются ворота.

Черные волны немецких пешцев катились к Перше, и казалось, что невозможно сдержать их бешеный порыв.

Но дубовые створки Великих и Смердых ворот захлопнулись раньше, чем кнехты добежали до Гребли. Со скрипом поднялись на цепях перекидные мосты. Лучники у бойниц натянули тетивы луков. Стрелы брызнули прямо в лицо немецкой пехоте.

Будто натолкнувшись на невидимую стену, кнехты остановились и побежали обратно, в спасительную темноту посадских улиц.

Князь Довмонт облегченно перевел дух: ворота удалось отстоять!..

* * *

Надолго запомнилась псковичам та страшная ночь: сплошное зарево посадского пожара над зубцами Перши, багровые отблески пламени на куполах Троицкого собора и зловещая угольная темнота в Запсковье и Завеличье², отданных на поток и разорение кнехтам.

¹ Охабень, или захабень — длинный узкий коридор между каменными стенами, примыкавший с внутренней стороны кремля к воротам; на другом конце охабня были еще одни — внутренние — ворота, которые должны были сдерживать врага, если он ворвется через наружные ворота в охабень. Охабень обычно покрывался сверху боевым настилом с бойницами для лучников.

² Запсковье — район древнего Пскова к востоку от Крома, на другом берегу реки Псковы. Завеличье — район к западу от Крома, за рекой Великой.

По улицам города катились дрожащие огоньки факелов, сплетаясь в причудливые узоры. Псковичи толпами бежали на соборную площадь, к оружейным клетям, откуда десятники уже выносили охапками мечи и копья, выбрасывали прямо в толпу овальные щиты и тяжелые комья кольчуг. Псковское ополчение вооружалось к утреннему бою.

А то, что бой неизбежен, что немцы не уйдут, пока их не прогонят силой, — знали в Пскове все, от боярина до последнего посадского мужика, как знали и то, что кроме них самих прогнать немцев — некому!..

Только на третьем часу дня¹ затих пожар на посаде. Свежий ветер с Псковского озера погнал дым за гряды известковых холмов, и глазам псковичей открылась черная обугленная равнина на месте вчера еще кипевшего жизнью посада, а за пепелищами — цепи кнехтов.

Левее, на берегу реки Псковы, возле пригородной церкви Петра и Павла, стояли большие шатры, развевались стяги с черными крестами. Там разбили стан конные рыцарские копья, цвет и сила крестоносного воинства. Вокруг стана суетились пешцы, устанавливая рогатки на случай нападения псковичей. Тянулись припоздавшие отряды рыцарей. Видно, немцы готовились к длительной осаде.

Но князь Довмонт решил иначе: он не стал ждать, пока соберется и изготовится к бою все немецкое воинство.

— Будем бить немцев в поле! — сказал он воеводам.

¹ Примерно 8 часов утра по современному счету времени.

С глухим стуком упали перекидные мосты перед Великими и Смердьими воротами. По мостам густо побежала прославленная псковская пехота.

Сила Пскова — в городском пешем ополчении, едином в любви к родному городу, стойком в бою, потому что в нем все знали всех, и дрогнуть перед лицом врага означало навеки опозорить свой род; в одном строю стояли отцы и сыновья, деды и внуки, соседи, дальние родичи, мастера и подмастерья, торговые люди и их работники, иноки псковских монастырей, сменившие кресты и монашеские посохи на мечи и копья!

И на этот раз пешее ополчение первым начало бой.

Перепрыгивая через канавы, обрушивая наземь подгоревшие жерди частоколов, скачываясь в овраги, выбираясь наверх, псковские ратники стремительно и неудержимо рвались к переполошившемуся рыцарскому стану: князь Довмонт решил ударить в самое сердце немецкого войска.

Древний боевой клич—«Псков! Псков!»—гремел над пепелищами посада, над покатыми берегами реки Псковы, ободряя своих и устрашая врагов.

Князь Довмонт, выехавший следом за пешцами на смирной белой кобыле, не поспевал за быстроногими псковичами. Они обгоняли его, оборачивались на бегу, и их лица, внешне такие разные, казались Довмонту похожими друг на друга, как лица братьев.

И Довмонт сейчас был в едином потоке с ними, в одном устремлении, в одной судьбе. Довмонт выпрямился в седле, будто сбрасы-

вая с плеч тяжелую ношу прожитых лет, и тоже кричал ликующе: «Псков! Псков!» Благословен час, который приносит на склоне жизни подобное счастье!..

А между немецкими шатрами уже началась сеча.

Рыцари неуклюже ворочались на своих окольчуженных конях, отмахиваясь длинными тяжелыми мечами от наседавших со всех сторон проворных псковских пешцев. Падали, продавливая мягкую весеннюю землю непомерным грузом доспехов. Сбивались кучками и стояли, оцетинившись копьями, и тогда уже псковичи платили многими жизнями за каждого повергнутого рыцаря.

От устья Псковы спешила к шатрам псковская судовая рать. Ладьи приставали к берегу, и ратники в легких мелкокольчатых доспехах, с мечами и секирами в руках, поднимались по склону и нападали на рыцарей со спины.

Поле битвы походило теперь на взбаламученное весенним штормом озеро, и редкие островки рыцарского войска тонули в волнах псковского ополчения.

Трубы у шатра магистра звали на помощь. Но помощь не пришла. Псковская конница, выехавшая из Великих ворот, уже пересекла сгоревший посад и обрушилась на немецкую пехоту. Дружинники гонялись за кнехтами, пытавшимися спастись в одиночку, рубили их мечами. Окружали толпы кнехтов, успевших собраться вместе, и издали поражали их стрелами.

Погибало немецкое пешее войско, которое магистр хотел бросить на весы боя, погибало

без пользы, и в этом была тайная задумка князя Довмонта: связать кнехтов дружинной конницей, пока ополчение избивает рыцарей...

Когда князь Довмонт подъехал к рыцарскому стану, все было кончено. Понуро стояли в окружении ликующих псковичей плененные рыцари и их слуги. В клубах пыли откатывались прочь немногочисленные отряды рыцарской конницы, успевшие прорваться через окружение. Кнехты врассыпную бежали к речке Усохе, карабкались, как черные муравьи, на известковые холмы.

Меч, обнаженный князем Довмонтом за правое дело, снова оказался победоносным!

Псков праздновал победу, не зная, что это — лебединая песня князя Довмонта. Весна набирала силу, но сам Довмонт, окруженный любовью и благодарностью псковичей, медленно угасал, как будто отдал в последней битве все оставшиеся у него жизненные силы.

Мая в двадцатый день, на святого Федора, когда покойники тоскуют по земле, а живые приходят на погосты голосить по родителям, — не стало князя Довмонта Псковского. А вскоре нарекли христиане Довмонта святым. Не за смирение нарекли, не за умерщвление плоти и не за иные иноческие добродетели, но за ратную доблесть...

3

Псковская горькая весть уязвила души многих людей. Скорбела Русь о кончине своего верного защитника. А для Якушки Балагура к общей скорби прибавлялась своя, личная.

Не по плечу оказалась бывшему звенигородскому мужику нарядная кольчуга княжеского дружинника. Ратному делу воевода Илья Кловыня обучил его отменно, но душу пахаря не переделал. Верно говорили люди: кто хоть раз вдохнул сладкий запах поднятой плугом земли, тот не в силах забыть эту землю, уйти от нелегкого, но благословенного богом и людьми жребия земледельца-страдника. А может, еще и потому томился Якушка, что не нашел в новой жизни того главного, ради чего взял в руки меч, — утоления святой своей мести!

Походов у него было много, но ни одного против ненавистных ордынцев, насильников, погубителей семьи. Будто намеренно отводил бог от дружинника Якушки даже скоротечные схватки с разбойными ватагами ордынских служебников, которые грабили людей на дорогах и в деревнях.

Якушка пробовал говорить о своем томлении воеводе Илье Кловыне, но тот строго оборвал его: «О чем мечтаешь? О татарах? Благодарю бога, что давно нет татар в Московском княжестве! Новую Дюденеву рать накликать мечтаешь, чтобы местью душу потешить?!»

Годы шли. Из простого дружинника Якуш Балагур превратился в старшего. Не раз ездил княжеским гонцом в иные города. Начальствовал над сотней пешцев, когда собиралось земское ополчение.

Но чем дальше, тем больше тянуло Якушку к земле, к хозяйству. По ночам Дютьково снилось, и всегда будто начало лета — зеленые веселые всходы на полях...

Ничего не мог с собой поделаться Якушка Балагур, хотя на посторонний взгляд жилось ему празднично, сытно, в чести. Умом понимал, что на такую судьбу грех жаловаться, но переломить себя не сумел...

Потому, видно, празднично-светлым оказался Якушке день, когда воевода Илья Кловыня объявил о будущем походе на немцев. Пусть не с ордынцами, а с железноголовыми рыцарями скрестит он свой заждавшийся меч: и те, и другие — злые погубители Руси! Для святого дело не грех оставить не токмо пашню, но и мать родную! Дождался Якушка своего часа!..

Но псковский поход не состоялся.

Тогда-то и не выдержал Якушка Балагур из рода потомственных землепашцев, упал в ноги благодетелю своему воеводе Илье Кловыне, взмолился:

— Отпусти, воевода, на землю!

И ведь понял воевода тоску бывшего мужика, не прогневался! Сказал грустно:

— Ратник из тебя получился добрый, жаль отпускать. Но ты по своей воле ко мне пришел, и насильно держать тебя не стану. Ступай пока, я подумаю...

А вскоре встретился Якушке на улице тиун Федор Блюденный, поманил Якушку пальцем:

— Воевода Илья просил за тебя. Расхвалил, яко красную девицу. Поглядим, поглядим... — и добавил будто нехотя, поскуцнев лицом: — На Сходне-реке новые деревни заводим, пришельцев заселяем. Может так получится, что быть тебе в тех деревнях тиуном. И свое хозяйство приобретешь, само со-

бой. Землю добрую дам. Повременить только придется до поры...

Якушка ждал. Прикидывал, с чего начинать обзаведение. Присмотрел для себя пару пахотных лошадок, добрых, молодых; корову, пашенное и прочее мужицкое орудие, благо серебро у него водилось: князь Даниил Александрович милостями своих дружинников не обходил, а Якушка, как ни говори, из дружинников был не последним...

Даже на Сходню-реку Якушка при случае наведалься — посмотреть будущую свою пашню. Земля на Сходне оказалась ничего, добрая, и строевой лес рядом — сосняк. Чего уж лучше? Благодатные места...

Но понадобилось вдруг воеводе Илье Кловыне послать на рязанский рубеж верного человека, и он снова выбрал Якушку: видно, другого верного не оказалось под рукой. Голod был везде на верных людей, это Якушка от самого князя Даниила Александровича слышал.

Правда, воевода обещал, что для Якушки это последняя служба. Добавил многозначительно, с намеком:

— Может, на рязанском рубеже скрестишь свой меч с ордынцами, как мечтал. Ордынцев нынче в рязанских волостях много...

Говорил воевода с Якушкой, отводя глаза, будто виноватым себя чувствовал. Нарушать свое слово воевода Ильи Кловыня не привык, но что делать, если так вышло?..

* * *

Для князя Даниила Александровича кончина Довмонта была не просто горе. Он почувствовал, что остался совсем один.

Потом, уже после рязанского похода, Даниил поймет, что псковичи все равно не успели бы подойти вовремя, да и не нужны они были — московским полкам и то дела было немного. Поймет Даниил, что он, в сущности, искал тогда не военной помощи, а душевного одобрения князя Довмонта, чтобы этим одобрением окончательно утвердиться в мысли, что служит на благо Руси.

Уверенности в своей правоте — вот чего не хватало Даниилу, когда он собирался в поход на Константина Рязанского, потому что Рязанское княжество, даже наполненное пришлыми ордынцами, оставалось русской землей.

Даниил верил, что придет время, когда походы великих князей на меньшую удельную братию во имя единства Руси обретут всеобщее одобрение, но не знал, пришло ли уже это время, поймут ли люди, что он — не честолюбец, не стяжатель чужих княжений, но болельщик за родную землю...

Понимали же раньше, до проклятого Батыева погрома, великокняжеские заботы градостроителя Юрия Долгорукого, самовластца Андрея Боголюбского, величественного Всеволода Большое Гнездо! А ведь он, Даниил Московский, продолжатель рода их княжеского и дел их великих!

Даниилу Александровичу необходимо было одобрение именно Довмонта-верного, Довмонта-неподкупного, а не своих бояр, которые представляли подобные походы как простые прѣмыслы новых земель и сел. Даниил не раз убеждался, что даже самые дальновидные из бояр, такие, как Протасий Воро-

нец, смотрели на княжество лишь как на большую вотчину и не в силах были понять, что есть замыслы иные, чем приобретение богатства, угодий, пашен, бóртных лесов, рыбных ловель, деревень, смердов-страдников.

И теперь бояре увидели лишь возможность присоединить к Москве рязанские волости севернее Оки-реки, обогатиться селами и людьми, сесть в новых владениях московского князя на щедрое кормление или посадить там наместниками-кормленщиками своих сыновей, братьев, племянников, — и торопили, торопили князя с походом.

Будто сговорились все вокруг: смотрят жадно, ждуще.

Пожалуй, только княгиня Ксения, богом данная спутница жизни, неодобрительно качала головой, слушая воинственные речи бояр, вздыхала, смотрела жалостными глазами.

Понять Ксению было можно: по-бабьи к тишине тянулась, к бестревожности. На других князей кивала, на уездных отшельников. «В Ростове живут тихо, и в Белоозере, и в Угличе. И на Москве бы нам так жить, никого не задирая. Зачем бога гневить, иной судьбы искать? Детишки здоровы, всего в изобилии, бояре уважительны, в храмах благолепие, мужики смотрят весело, видно, сыты... Только-только утишилось все, а вдруг война... Надобно ли, Даниил Александрович?..»

Даниил обрывал жалостные разговоры, сердился на жену, но ее слова о тишине находили все-таки отклик в его душе, и он думал размягченно, что в этих словах есть какая-то своя правда, что этой правдой живы многие люди и что он, московский князь,

толкая свое княжество на крутую и опасную дорогу войны, отнимает у людей что-то такое, без чего немыслима человеческая жизнь...

А может, он, Даниил, просто устал загоды непрерывной борьбы, утверждая московский стяг в самом первом ряду русских княжеских стягов?

Тишина... Умиротворение тишиной... Покой и неспешность в мыслях и поступках... Так тоже можно жить!

Но зачем?

Если мечтаешь о тишине, тогда снимай с шеи золотую княжескую гривну, скрывайся за монастырскими стенами, спасай душу в молитве, в несуетном бытии чернеца!

Нет, нет!

У каждого человека на земле свой удел, predeterminedный свыше. Удел Даниила — быть князем. Не искать покоя, но избегать его. Не уходить от опасности, но властно вздыбить, как боевого коня, судьбу Московского княжества и мчаться под лязг и звон оружия, трубные вопли, перед изумленными глазами друзей и врагов. Вперед, только вперед! Внезапно остановившийся перед преградой всадник вылетает из седла, а конь его, радуясь обретенной свободе, скачет дальше, чтобы найти властную руку другого господина...

Можно ли остановиться перед рязанским порогом?

Кажется, чего легче: скажи слово воеводе Илье Кловыне, и ратники разбредутся по своим деревням, снова поменяют копья на плуги и косы.

Но не предпочтет ли тогда московский конь другого всадника?

Ведь бояре торопят, торопят...

Воевода Илья Кловыня вторую неделю доспехи с плеч не снимает, — похоже, даже спит в кольчуге. Бряцает оружием, как на бранном поле.

Черниговский боярин Федор Бяконт в Москву прибежал со всеми военными слугами. Клянется и божится, что коломенские и серпуховские вотчинники только и ждут, когда князь Даниил с войском на Оку явится, под свою руку их брать. Сверкает Федор Бяконт раскосыми половецкими глазами, бьет себя кулаком в грудь:

— Головы за тебя бояре сложат, а князю Константину их владельцем не быть! Не пропусти время, княже! Решайся, княже, скажи только слово!

И большой боярин Протасий Воронец неотступно твердит:

— Решайся!

Добродушный жизнелюбец Иван Романович Клуша и тот заводит разговоры о добром рязанском меде, которому будто бы нет равного на Руси: «Со светлых приокских лугов тот мед, сладости необыкновенной!»

Что они, сговорились, что ли, все?

Уехать бы за тихую Ворю-реку, в запovedные леса...

Но уехать можно от людей, а от своих дум куда денешься? С собой они всегда, неотступно...

Вся жизнь его — преодоление рубежей.

Вступил Даниил на московский удел — вот и первый рубеж.

Второй рубеж он перешагнул, когда умер старший брат Дмитрий, защитник и опора в жизни. Своими руками Даниил отстоял все, что было ему дано старшим братом. Московское княжество стоит ныне крепко!

Третий рубеж — перед ним. Не свое он теперь собирается отстаивать, а новое приобретать. По-другому все будет: труднее, опаснее.

А ведь Москва лишь единый год в полном мире прожила...

Самому толкать княжество в войну?

А как иначе?..

* * *

Даже всевидящий Протасий Воронец не подметил часа, когда князь Даниил Московский окончательно решился на войну с Константином Рязанским и его ордынцами.

Великое дело началось с мимолетного разговора, на который непосвященный и внимания бы не обратил. Даниил сказал воеводе Илье Кловыне:

— Надо бы на Коломну послать верного человека. Пусть походит, посмотрит, нашим доброхотам ободряющее слово скажет.

— Есть у меня такой человек, — помедлив, ответил воевода. — Рязанец родом, чего уж лучше? На Гжельской заставе он ныне, у самого рязанского рубежа...

— Пусть Шемяка Горюн к тому человеку съездит, расскажет, что и как надобно сделать.

— Завтра же поедет, княже...

Глава 5

Гжельская застава

1

Невеликая речка Гжелка, умерив свой бег на широких пойменных лугах, вливалась в Москву-реку смирно и неторопливо.

Хвойные леса, окаймлявшие южный рубеж Московского княжества, отступали здесь от речных берегов, и возле Гжелки было светло и просторно. Не верилось даже, что это — не ополье, а самая середина лесного замосковского края.

На мысу между Москвой-рекой и Гжелкой весенние паводки намыли песчаный холм. С незапамятных времен поселились на холме люди — больно уж приметное было место!

Сначала было древнее городище вятичей-язычников, упорствовавших в своей нечистой вере. Городище сожгли отроки Владимира Мономаха, которые сопровождали своего князя в опасном пути сквозь землю вятичей.

В канун Батыева погрома на холме стоял богатый боярский двор, а вокруг него — россыпью — дворы смердов и рыбных ловцов. Сторожевые загоны ордынского воинства, спешившего к стольному Владимиру, сожгли постройки и вырезали людей. Боярин с семьей, не успевший отъехать прочь перед нашествием иноплеменных языцев, тоже принял смерть от татарской сабли. Вьюга замела пепелище, а летом, когда солнце высушило

землю, ветры засыпали его белым гжельским песком. Без следа исчезло поселение на холме, и люди забыли, как оно называлось.

Прошло без малого сорок лет.

Московский наместник Петр Босоволков, объезжая южный рубеж княжества, облюбовал устье Гжелки для сторожевой заставы: ниже по Москве-реке уже начинались рязанские волости. «Два речных пути возле Гжелки сходятся, — сказал он князю Даниилу. — Для заставы и для мыта лучшего места не найти!» И князь Даниил согласился с наместником.

По весенней высокой воде мужики пригнали к устью Гжелки плоты строевого леса-кремлевника, застучали в сотню топоров. Вершину холма обнесли крепким частоколом, срубили воротную башню, а на башне — площадку для караульных ратников с перильцами и шатровой кровлей. За частоколом поставили просторную дружинную избу, подклетки для припасов, конюшню, кузню. На берегу Москвы-реки сколотили из сосновых досок пристань, а возле пристани — избу для мытника.

В избе поселился московский торговый человек Савва Безюля, променявший несытное посадское житье на беспокойную, но прибыльную службу княжеского мытника.

А за частокол были определены на постой три десятка ратников с доверенным дружинником Ларионом Юлой. Так появилась в княжестве еще одна — Гжельская — застава.

Потом Лариона Юлу сменил другой княжеский дружинник — Порфилий Грех, потом — сын боярский Тимофей Агинин, потом

дружинник же, но родом поплоше — Пашка Шпынь, а потом и вовсе добрых людей из Москвы присылать перестали. Старшим на Гжельской заставе остался десятник Грибец, из местных мужиков. Так уж вышло, что заметные на Москве люди избегали службы на Гжельской заставе. Да и к чему было им, при княжеском дворе состоявшим, сюда стремиться? Только и хорошего, что тихо...

Рязанцы, стоявшие караулом версты за три ниже по Москве-реке, держали себя дружелюбно, даже в гости наведывались по христианским праздникам. Рязанскому князю было не до московского лесного рубежа, других дел хватало: ордынцы за горло брали, пасли коней чуть не под самым Пронском. Да и далеко был московский рубеж от Рязани. Если по прямой — верст двести, а если вобход по проезжим дорогам, то и того больше. А от Москвы до Гжелки всего четыре десятка верст, один день пути для конной дружины. Разумно ли было рязанским караульщикам свой нрав показывать? Вот и не задирались они с москвичами, сидели смирно.

Жили московские ратники на Гжельской заставе безмятежно, но скучно, будто бы в забросе, от настоящего дела в стороне. Только мытник Савва Безюля хлопотал беспрестанно, выезжал в легкой ладье навстречу торговым караванам, собирал с купцов первый московский порубежный мыт.

Два раза в год, по летнему водному и по зимнему санному пути, наведывался на заставу княжеский тиун Федор Блюденный, пересчитывал и отвозил в Москву собранное мытником серебро.

На разленившихся от спокойной жизни и даровых кормов гжельских ратников тиун смотрел презрительно, чуть не в глаза обзывал лодырями. И задушевные разговоры тиун вел не со старшим на заставе (что для него, княжеского человека, десятник из простых мужиков?!), а с мытником Саввой Безюлей. Ему и наказы оставлял на будущее, что надобно сделать.

Мытник Савва Безюля со временем заважничал, стал покрикивать на ратников, как на своих холопов. Да как ему было не заважничать? И княжеский тиун только с ним, Саввой, советуется, и дело настоящее только у него, а остальные люди на заставе лишь проедают без пользы корм, коим изоброченны в убыток княжеской казне мужики из соседних деревень. А от него, Саввы, князю один прибыток. Это еще подумать надобно, кто при ком состоит: мытник ли при заставе или застава при нем, мытнике Савве Безюле!

Время от времени на заставе сменялись караульные ратники и конные гонцы. Но новые люди сразу смекали, что над всеми здесь голова мытник Савва Безюля, княжеского тиуна близкий человек, и держали себя соответственно. До того дошло, что и огород у Саввы обихаживали ратники, и за скотиной его убирали навоз, и баню ему топили по субботам.

Дюденева рать обошла Гжельскую заставу стороной. С одного края татары на Коломну кинулись, с другого — на Москву, а гжельская волость где-то посередине осталась, невоеванной. Зима та запомнилась только обозами беженцев, которые проходили ми-

мо заставы по речному льду. И от Москвы к Коломне бежали люди, и от Коломны к Москве, не ведая, что там, где они искали спасения, не менее опасно, чем дома. Почему-то людям казалось, что в чужих краях легче избыть беду...

Нескоро, с купеческими случайными случаями, доходили до заставы вести о вражде князя Даниила со своим старшим братом Андреем, о приезде на Русь ордынского посла Олексы Неврюя, о княжеском споре из-за Переяславского княжества. Но рязанский князь Константин оставался в стороне от всех этих дел, войско на север посылать не собирался, и потому на Гжельской заставе по-прежнему было тихо.

* * *

Все изменилось как-то сразу.

Проезжие купцы начали рассказывать об ордынцах, вдруг во множестве появившихся в рязанских городах и волостях.

Ниже по Москве-реке, на знаменитых бронницких лугах, поставил свои юрты кипчакский мурза Асай. Ордынские кони пили светлую москворецкую воду.

Десятник Грибец погнал тогда в Москву конного гонца. Хотел выслужиться перед князем, а оказалось — неприятности накликать на свою неразумную голову. На заставу приехал княжеский дружинник Якуш Балагур с пятью десятками конных ратников, и спокойная жизнь на заставе кончилась...

Мытник Савва Безюля встретил дружинника с должным почетом, хотя и заметил сра-

зу, что происходил он из мужиков: руки большие, мозолистые, раздавленные работой, да и разговор не книжный, совсем простой разговор...

Но одет был Якуш богато, в полный дружинный доспех, новый суконный плащ обшит для красоты серебряной каймой. Смотрел Якуш на людей строго, уверенно, властно. Савва смекнул, что держать себя с ним нужно осторожно.

Так и получилось. Якуш Балагур завел на заставе порядки жесткие, непривычные. Десятники (а их приехало сразу пятеро!) поднимали людей с восходом солнца. Осмотр оружия... Чистка коней... Ратное учение до седьмого пота... А по берегу ездить конными разъездами? А камни возить да на стену поднимать? А коней выгуливать, чтобы не застоялись? И все нужно было делать споро, чуть не бегом. Успевай только поворачиваться!

Гжельские старожилы зароптали было на тяготы службы, но быстро прикусили языки. У Якуша Балагура лишь прозвище оказалось веселым, а нрав — весьма и весьма крутым. Нерадивых он вразумлял батогами. Но и сам пример подавал: с рассвета до позднего вечера на ногах, в заботах и хлопотах. При таком начальнике не заленишься: совестливому — стыдно, а бессовестному — боязно. Не то что при прежнем старшем Грибце...

Но Грибца в первый же день изругал Якуш последними словами за нерадение, отставил от должности и назначил караульщиком на башню.

Бывший десятник Грибец и тому был рад: спина цела, а в караульщиках жить можно, сиди на ветерке да поглядывай, как другие ратники, понукаемые Якушем, с ног сбиваются. И хуже могло быть. Но все же, что ни говори, было обидно. Из старших да в простые караульщики!..

В нечастые теперь свободные минуты Грибец забегал к мытнику Савве Безюле, своему давнишнему знакомцу, горько жаловался:

— Совсем затеснил Якуш людей! За что напасть такая на нас, грешных?

Савва Безюля сочувственно вздыхал, поддакивал:

— Куда уж дальше... Всех под себя подмал, будто и впрямь война... Воевода сиволапый!

И другими нехорошими словами обзывал Савва Безюля нового начальника, если беседовал с Грибцом наедине, без свидетелей. Но на людях держался с Якушем Балагуром почтительно. Понимал, видно, опытный мытник, что орешек этот не по его зубам — твердоват....

А своих причин для недовольства накопилось у Саввы достаточно. Якуш запретил ратникам работать на дворе у Саввы. Это-то еще можно было перетерпеть, взять работников из найму. Но и в своем, мытном деле стал Савва несвободен! Якуш приказал ему выезжать навстречу купеческим караванам только вместе со своим доверенным десятником. Савва собирал с купцов мыт, а прятал серебро в калиту десятник Якуша. Хранилось серебро в ларце, ключ от которого был у Саввы, но стоял ларец в избе Якуша, и

доступа к ларцу Савва больше не имел. Не обидно ли?

Со знакомым купцом Савва Безюля послал кляузную грамотку своему благодетелю, тиуну Федору Блюденному. Так, мол, и так, своевольничает Якуш Балагур, весь мыт крукам прибрал, серебро в своей избе держит, а его, мытника Савву, вконец затеснил. А зачем Якуш у себя княжеское серебро складывает, о том ему, Савве, не говорит. Может, для сохранения, а может, что недоброе задумал. Теперь он, Савва, за серебро не в ответе, и если случится что, пусть тиун на него не гневается. А он, Савва, служил князю честно и дальше честно служить будет, но пусть тиун рассудит, кто прав...

Хитренько так была составлена грамотка, шибко на нее надеялся Савва Безюля, но ответ задерживался. Савва терялся в догадках. Непохоже было на тиуна Федора Блюденного, чтобы он жалобу на утеснение своего человека без внимания оставил. Может, потерял купец грамотку или не осмелился вручить тиуну в собственные руки?

Надо ли говорить, как обрадовался Савва Безюля неожиданному приезду на заставу сотника Шемяки Горюна, ближнего человека самого князя Даниила Александровича? Без причины такой человек из Москвы не придет!

И все подтверждало, что приезд этот для ненавистного Якуша — не в добро. Сотник говорил с Якушем сухо, сердито. Придирчиво проверял оружие у ратников, недовольно качал головой. Грозен был сотник Шемяка Горюн, куда как грозен!

А вот с Саввой сотник побеседовал ласково, уважительно. Тут Савва все обиды ему и выложил. И про серебро намекнул, что при нынешних-то порядках за сохранность серебра не ручается.

— Вот уж поговорю с ним, своевольником! — пообещал сотник, отпуская Савву с миром. — Ты, мытник, дальше служи без сомнений. Твоя служба князю нужная...

Савва вышел ободренный. Присел на скамеечку возле дружинной избы, перевел дух. Жизнь опять поворачивалась светлой стороной... Мимо пробежал к строгому сотнику Якуш Балагур.

Савва решил еще посидеть, подождать.

Ждать пришлось долго, без малого час. Но Савва дождался.

На крыльце показался Якуш Балагур — притихший, встревоженный. А вслед ему, из приотворенной двери, доносился сердитый голос сотника:

— Завтра за все ответ держать будешь!

И пошел Якуш Балагур прочь, голову повесил.

«Вот так-то лучше! — торжествовал Савва. — Будешь знать, как верных княжеских слуг обижать! За своеволие свое ответ держать!»

Благостно, ох как благостно было Савве Безюле...

Потру рано Савву разбудили крики и топот ног. Савва выглянул в оконце. От заставы бежали к пристани ратники.

— Якуша не видел? — выкрикнул, задыхаясь, Грибец. — Сотник его требует, а найти не можем...

Савву будто обухом по голове стукнуло: «Серебро!»

Расталкивая людей, Савва медведем вломился в горницу.

Знакомый ларец валялся на полу, замок вырван напроць, а в ларце — пусто. Только сосновая дощечка, на которой Савва зарубками отмечал собранное серебро, сиротливо лежала на дне ларца.

Савва метнулся к сундуку, в котором Якуш Балагур хранил свое собственное добро, откинул тяжелую крышку. Тоже пусто! И оружия не было на стенах, и иконы Николы Чудотворца, которую Якуш по приезде собственноручно повесил в красном углу, — тоже не было!

— Разбой!! — торжествующе завопил Савва.

— Собирайте людей! Снаряжайте погоню! — громогласно распоряжался во дворе сотник Шемяка Горюн.

Ратники выводили из-под навеса коней.

2

Над прибрежными лесами поднималось солнце. Бледный серпик месяца истаявал, растворяясь в голубизне неба. Течение тихо несло ладью. Негромко поскрипывали уключины весел, свободно опущенных в воду.

Всю ночь Якушка Балагур ожесточенно выгребал, чтобы затемно миновать рязанскую заставу и бронницкие луга, на которых мигали костры кипчакской орды мурзы Асая, а теперь отдыхал, лежа на дне ладьи.

Где-то рядом плеснулась крупная рыба.

Якушка вздрогнул от неожиданности, крепко взялся руками за борта ладьи, приподнялся, сел.

В кожаной калите, привязанной к поясу, глухо звякнуло серебро...

Якушка вспомнил, как он вчера вечером вместе с сотником Шемякой Горюном ломал замок на ларце мытника, как пересыпал в калиту серебро, — и затосковал. Будто тать в ночи...

Хоть и по приказу это было сделано, чтобы болтливый мытник пустил слух, будто Якушка серебро уворовал, а потому и сбегал с заставы неведомо куда, — но все равно было неприятно, стыдно...

Да и остальное было Якушке не по душе. Знал он, конечно, что по чужим городам и землям ходят от князя Даниила Александровича верные люди, высматривают тайно, что князю надобно, но думал о таких людях без уважения. Не воинское это дело, не прямое. Одно слово — соглядатай...

А нынче вот самому пришлось с подобным делом в Коломну ехать.

Якушка вздохнул, взялся за весла. Ладья быстрее заскользила вдоль берега, заросшего кустами ивняка. Якушка подумал, что спрятаться ему в случае чего будет легче легкого — свернул, и растворился в зеленых ветвях, которые опускались к самой воде. Но прятаться было не от кого и незачем — рязанских застав больше на Москве-реке не было.

Солнце начинало припекать.

Якушка снял суконный кафтан, бросил его на нос ладьи. Простоволосый, в домотканой

рубаше, с нечесаной бородой, он был похож на купеческого работника или на торгового человека не из больших — из тех, которые возят на торг чужой товар из доли. Да так и было задумано с сотником Шемякой Горюном. Якушка отправился в Коломну под личиной торгового человека. Только товара подходящего у Шемяки Горюна не оказалось. Товаром Якушка должен был озаботиться по дороге.

Ладья нагоняла купеческий караван, неторопливо сплавлявшийся вниз по течению. Якушка выбрал большой струг с высоко поднятым носом (на таких стругах приплывали торговые гости из Новгорода, меньше было опасности встретить знакомого человека) и окликнул кормчего.

— Чего надобно, добрый человек? — спросил тот, разглядывая из-под ладони подплывавшую ладью.

— Товару бы железного взял...

— Подгоняй ладью... Товар найдется...

Новгородский купец высыпал на палубу длинные ножи, топоры, висячие замки, подковы — самый ходовой, мужицкий товар. В чем, в чем, а в таком товаре Якушка разбирался преотлично.

Сторговались быстро. Цена на железные изделия была известна, ни продавцу запрашивать, ни покупателю сбивать цену не приходилось.

Довольный почином, новгородский купец собственноручно уложил товар в большой плетеный корб и велел работникам спустить его в Якушкину ладью.

— Хорошего торга, добрый человек!...



От Гжелки до Коломны считалось три дня судового пути.

Якушка на легкой ладье одолел этот путь к исходу второго дня, обогнав несколько купеческих караванов. В багровом свете заходящего солнца впереди показался город, стоявший на высоком мысу между Москвой-рекой и речкой Коломенкой.

Последний раз Якушка Балагур был в Коломне без малого два десятка лет назад, и удивился, что город почти не изменился. Такой же, как прежде, невысокий частокол опоясывал город, а над частоколом поднимали свои главы все те же немногочисленные деревянные церквушки. Все та же пристань из осклизлых бревен прислонилась к берегу под городским валом, и даже ветхая изба пристанского сторожа, как показалось Якушке, была той же самой, виденной им когда-то.

В Москве все было не так. Москва ежегодно разрасталась в стороны посадами, которые уже далеко отошли от кремлевских стен. А в Коломне, как видно, посадские дворы по-прежнему умещались за частоколом, а сам город застыл в ленивой неизменяемости.

«Вот первое, что надобно зарубить в памяти: людей в Коломне не прибавляется...» — подумал Якушка.

С трудом протиснувшись между купеческими стругами, Якушка подогнал свою ладью к пристани, пропустил цепь через железное кольцо, вколоченное в бревна, и замкнул за ранее припасенным замком.

Шаркая чеботами, подошел сторож с то-

пориком на длинной рукоятке, лениво спросил, где купец думает ночевать — в ладье или в городе.

— Коли в город пойдешь, найми меня сторожить ладью.

Ночевать на берегу Якушке не хотелось: успел уже до синяков намять бока на ребристом дне ладьи. Но и оставлять товар без присмотра было неразумно. Что-то не больно поверил Якушка коломенскому сторожу. Если сам не сворует, то проспит...

— А в городе есть избы, куда на постой берут?

— Почему же нет? Есть такие избы, — по-прежнему лениво, будто нехотя, отвечивал сторож. — Изб в Коломне много. Больше, чай, чем людей осталось...

— Тогда в город пойду, — решил Якушка.

Он выкинул из ладьи на пристань узлы с одежкой, с припасами. Кряхтя, потащил волоком тяжелый короб с железным товаром.

Сторож стоял, безучастно поглядывая, как Якушка силится поднять короб на пристань.

— Помог бы, что ли... — попросил Якушка.

— Ништо! Ништо! Сам подынешь! Мужик ты, видать, могутный!

— Да помоги же, леший! — рассердился Якушка.

Сторож неторопливо положил на бревна топорик, развязал веревку, которой был перепоясан вместо ремня, кинул конец Якушке. Якушка обвязал короб веревкой, крикнул:

— Тяни!

Вдвоем кое-как выволокли короб из ладьи. Якушка присел на бревно, обтирая рукавом вспотевший лоб.

— Дальше-то что делать будешь? — любопытствовал сторож, снова перепоясываясь веревкой. — На товаре всю ночь сидеть? До города тебе товар, пожалуй, не дотащить...

Якушка и сам видел, что одному не справиться — тяжело. Покопался в калите, вытащил небольшой обрубок серебряной гривны, показал сторожу.

Тот оживился, подобрел лицом.

— А знаешь что? Ко мне иди ночевать! — будто только что догадавшись о такой возможности, предложил сторож. — У меня в городе изба большая, а людей в избе — сестра вдовая с мальчонком. Сладились, что ли?

Якушка кивнул, соглашаясь: «Сладились!»

Сторож неожиданно проворно побежал к пристанской избе, забарабанил кулаками в дверь:

— Сенька! Игнашка!

Появились два дюжих парня — заспанные, нечесанные. Молча выслушали наказ сторожа, подняли короб и понесли наверх, к городу.

Якушка, обвешанный узлами, едва поспевал за ними.

Как видно, в Коломне все дремали на ходу, как пристанский сторож. В воротах Якушку встретил караульный ратник, такой же медлительный и ленивый. Без интереса спросил, откуда приехал торговый человек, велел отсыпать в ларь десятую часть товара — мытный сбор. Взамен Якушка получил обры-

вок пергамента с оттиском городской печати и вежливое напутствие:

— Торгуй свободно, добрый человек!

За воротами начиналась неширокая, едва двум телегам разминуться, городская улица. Ворота дворов были плотно закрыты, людей не было видно, хотя час был предвечерний, еще не поздний.

Парни свернули в проулочек, такой тесный, что углы короба то и дело чиркали по жердевым заборам, оставляя царапины на осиновой коре. Якушка почему-то подумал: «Будто затесами путь отмечают...» Чавкала под ногами грязь, не просыхавшая, наверно, все лето.

Возле неприметной калиточки парни поставили короб на землю, постучали.

За глухим забором залаяла собака. Ей откликнулись псы в соседних дворах. Собачий лай, перекатываясь, доносился со всех сторон.

— Весь город переполошили, — сказал Якушка.

— Ништо! — равнодушно отмахнулся парень. — Полают и перестанут. Их дело такое — лаять...

Калитка со скрипом приоткрылась, выглянула какая-то женщина.

Якушка в наступивших сумерках не рассмотрел ее как следует, но черный вдовый платок отметил. Значит, это о ней говорил сторож на пристани...

— Иван с берега прислал, — пояснил парень. — Прими на постой торгового человека.

— Пусть ночует, места хватит...

Спал Якушка долго — умаялся с дороги. И спалось ему на удивление покойно, по-домашнему. Снилось Дютьково, своя прежняя изба, жена Евдокия, детишки. По-хорошему снились, по-светлому — будто живые.

Пробудившись, Якушка долго лежал с закрытыми глазами, слушал шевеление в избе, легкие шаги, потрескивание огня в печи, стук ножа по столу. И казалось Якушке, что вот откроет он глаза, и увидит своих, и будет все как в прошлые счастливые годы...

— Мамка, а кто там на лавке лежит? — услышал Якушка тоненький детский голосок.

— Тихо, родненький, тихо! Чужой человек это...

Ласково так сказала женщина, но слова ее будто по сердцу ударили, отогнали сладкие видения. Конечно же, чужой он... И не гость даже...

Откинув овчину, которой укрывался на ночь, Якушка соскочил на земляной, чисто подметенный пол, огляделся.

Сторож, пожалуй, зря хвастался: большой эту избу никак не назовешь. От стены до стены сажени¹ три, да еще глинобитная печь чуть ли не треть избы занимает. Но везде чисто, ухожено. На стенах повешены вышитые рушники. Горшки на полке поставлены в ровный рядок. Сундук окован железом, а между железными полосами — крашенные доски.

На хозяйке опрятный лётник, перетянутый под грудью шерстяным крученым пояском, круглый ворот обшит красной каймой. Лицо

¹ Сажень — 2,13 метра.

у хозяйки пригожее, румяное, а под вдовьим платком — молодые улыбчивые глаза.

Только теперь, при дневном свете, Якушка как следует рассмотрел женщину, и она понравилась ему: ласковая, спокойная, теплая какая-то...

— Утро доброе, Якуш! Как спалось на новом месте?

Якушка вздрогнул, услышав свое имя, но тут же вспомнил, что вечером назвался хозяйке. И как ее зовут, тоже вспомнил. Хорошее у нее было имя — Милава.

Поблагодарил за приветливое слово, вышел в сени — ополоснуть лицо у кадушки. Подсел к столу. Милава поставила глиняный горшок с кашей, полила молоком, положила деревянные ложки, а рядом с каждой ложкой — ломоть ржаного хлеба.

И опять Якушке почудилось что-то знакомое, близкое. Так всегда делала покойная Евдокия, собирая на стол. Словно дома оказался Якушка, в давно забытом семейном уюте.

За едой разговорились.

О себе Якушка рассказал, что родом он из Рязани, много лет прожил в чужих краях, а теперь вот возвращается. Как с торговлей выйдет, сам еще не знает, но надеется, что железный товар везде надобен...

Милава подумала, согласилась. Своих умельцев по железу в Коломне немного, люди больше привозным изделием пользуются. Посочувствовала, что приехал Якушка в неудачный для торговли день. Большой торг на Коломне собирается по пятницам, когда мужики из деревень приходят, а нынче только вторник, долго ждать...

Милавина рассудительность и забота о его делах понравились Якушке. И мальчонка Милавин понравился. Сидел мальчонка за столом смирно, уважительно, кашу хлебал без торопливости. Проноса ложку над столом, держал под ней ломоть хлеба, чтобы молоком не капать. Приучен, значит...

Как-то незаметно разговор перешел на свое, личное. Милава пожаловалась, что одной вести хозяйство трудно. Да и скучно. Брат Иван на берегу пропадает, лишь по субботам на двор наведывается, когда баня. Если б не сынок, совсем бы жизни не было...

— А сама-то давно вдовствуешь? — участливо спросил Якушка.

— Седьмой год. С Дюденовой рати. Сынок уже после родился, живого родителя не застал...

— И я тоже с татарской рати овдовел. Выходит, одинаковое горе у нас с тобой...

Милава склонила голову, задумалась.

Притихший мальчонка поглядывал то на мать, то на незнакомого бородатого дядю, сидевшего напротив за столом. Видно, силился понять, почему так вдруг случилось: говорили, говорили, — и вдруг неизвестно отчего замолчали, а мамка будто плакать собралась...

— Да ты не печалься, — заговорил Якушка. — Может, обойдется все. Жизнь-то по-разному поворачивается: когда худом, а когда и добром. А ты молодая еще, пригожая.

Милава приложила платок к глазам, улыбнулась через силу:

— Что это я вдруг? Думала, отплакала уже свое, а встретила участливого человека, и опять...

— Полно, полно! — застеснялся Якушка, поднимаясь из-за стола.

Хотел добавить еще что-нибудь утешительное, но что сказать — не придумал. Вздохнул только, провел ладонью по мальчишеской головке и опять смутился, встретив благодарный взгляд Милавы.

— Так я пойду... Может, принести что нужно?

— Ждать к обеду-то?

— Жди...

3

Якушка Балагур ходил по Коломне неторопливо, вразвалочку, будто время убивал в ожидании торгового дня. Заговаривал с коломенскими посадскими людьми, сидевшими без дела на лавочках возле своих дворов, спрашивал о пустяках. А среди пустяков нет-нет да и о важном узнавал, о таком, что в Москве интересно будет знать. И сам свежим взглядом подмечал много интересного.

Коломна оказалась городом бедноватым, запущенным. Деревянные мостовые на улицах поизбились, в щелях между бревнами выросла трава. Частокол на валу ветхий, если ударить пороками — враз обвалится. Новых изб в городе почти не было, да и в старых люди жили не везде. Якушка видел кузницу, двери которой были крест-накрест заколочены досками, видел гончарные мастерские с обвалившимися кровлями, заросшие бурьяном дворы.

Чего было много в Коломне, так это только боярских хором. Но и хоромы в большинстве пустовали. Вотчинники возвращались в

город зимой, а остальное время проживали в своих селах, при хозяйстве. Никуда не отлучался только боярин Федор Семенович Безум, наместник и воевода городского ополчения.

Сотник Шемяка Горюн предупредил Якушку, что коломенским наместником нужно поинтересоваться особо. Якушка, конечно, не мог предположить, что у него будет случай самому познакомиться с боярином Безумом, и осторожно выпрашивал о нем у горожан. В Якушкином любопытстве не было ничего подозрительного — приезжие торговые люди всегда интересовались городскими властями.

О наместнике Федоре Безуме коломенцы отзывались плохо: своенравен, жесток, злопамятен, любит не по-доброму надсмехаться над людьми. А главное, неожиданным каким-то был наместник, в милостях и в гневе непостоянным. Побояивались его на Коломне и правые, и виноватые, потому что трудно было предугадать, что за его постоянной улыбочкой кроется, — с какой ноги утром встанет, так и творит. То большую вину простит, то забьет насмерть за малую оплошность. Старик-сбитенщик, возле которого Якушка присел отдохнуть, так прямо и предостерег:

— Ты лучше обходи его сторонкой, Федора Семеновича-то нашего, от греха подальше. Безум — он и есть без ума...

При всем этом боярин Федор Безум не был настоящим хозяином городу, к службе своей относился нерадиво. Коломенские ратники, не чувствуя над собой начальственной руки, вконец обленились, от воинского строя отвыкли, в караулах спали. Ополченское оружие в подклетьях боярского двора не перебиралось

который год, поди, проржавело все. Только о земляной тюрьме-порубе¹ побеспокоился наместник: новые замки велел повесить, двери железом обить. Но тюрьма — дело особое, она для своих, а не для неприятелей...

Понятно, сам Якушка встречи с наместником не искал. Разузнал о нем от знающих людей — и довольно. Поручение сотника Шемяки Горюна было к другому коломенскому боярину — к Федору Шубе.

Днем Якушка раз и два прошелся мимо двора боярина Шубы, высмотрел, что боярин на месте: холопы во дворе челноками сновали взад-вперед, телеги выезжали с кладью, из поваренной избы дым валил. Такой суеты на дворе без хозяина не бывает!

Но при свете являться к боярину Якушка поостерегся, решил подождать вечера. Сотник Шемяка Горюн именно так советовал, без лишних глаз.

В сумерках Якушка вышел из избы.

Милава проводила его до ворот, спросила обеспокоенно:

— Куда собрался на ночь глядя? О разбоях у нас точно бы не слышно, но все ж таки зачем в темноте ходить? Подождал бы до утра...

— Ненадолго я, голубушка. Не тревожься, — успокоил Якушка.

И снова забота хозяйки растрогала Якушку. Давно уже не провожали его со двора вот так — лаской...

Луна высветлила до белизны деревянные

¹ Поруб — земляная тюрьма, представлявшая собой глубокую яму, наглухо заделанную сверху деревом.

кровли посадских изб, но в узких улицах лежали черные тени и было темно, хоть глаз выколи. Якушка ступал осторожно, придерживаясь рукой за забор. Хорошо хоть, что днем вызнал дорогу к двору боярина Шубы, а то и заблудиться недолго — спросить не у кого, на улицах пусто.

Неподалеку от двора боярина Шубы Якушка постоял в темноте, послушал, не крадется ли кто за ним, потом осторожно постучал кулаком в ворота.

Приоткрылась калиточка. Сторож высунул наружу лохматую голову, спросил неприветливо:

— Чего надобно?

— Проводи к боярину, — строго сказал Якушка. — Персдай, что человек издалика пришел.

Сторож пропустил Якушку в калитку, свистнул.

Видно, ночные гости были во дворе боярина Шубы не в диковинку. Четверо рослых молодцов окружили Якушку и повели к хоромам.

Казалось, нисколько не удивился ночному гостю и сам боярин. Жестом отпустил холопов, спросил:

— С чем пришел, добрый человек?

— Тезка твой, боярин Федор Бяконт, приеты шлет. На день воздвижения в гости собирается...

Якушка не знал, чем памятен Шубе его тезка и почему именно на воздвижение боярин Бяконт собрался гостить в Коломне, но сотник Шемяка велел начинать беседу именно с этих условленных слов.

Как тотчас убедился Якушка, сотник знал свое дело. Боярин подобрел лицом, указал Якушке на скамью против себя, протянул многозначительно:

— Вот ты откуда... Садись, садись... Переданное тобой запомню... Так и скажи тому, кто тебя послал. А теперь меня слушай и запоминай, как есть...

О многом важном рассказал боярин Федор Шуба притихшему Якушке. Но наиважнейшим все-таки было то, что князь Константин Рязанский стоит на Оке-реке непрочно. Вотчинники из коломенских волостей Гвоздны, Мезыни, Песочны, Скульневы, Маковца, Канева, Кочемы больше тянутся к Москве, чем к Рязани. А своего войска у рязанского князя в здешних местах почти нет: сотни три ратников в Коломне, полсотни в заставе на Москве-реке, да в Серпухове сколько-то, но тоже немного. Одна сила опасная — орда мурзы Асая на бронницких лугах, больше тысячи конных. Но захочет ли мурза за князя Константина крепко биться, никто сказать не может...

— До самого Переяславля-Рязанского можно дойти беспрепятственно, — заключил Федор Шуба. — А вот в Переяславле у князя Константина войско есть. И своя дружина, и пришлые ордынские мурзы...

— Надо бы мне в Переяславль...

— Ни к чему бы тебе ехать! — не согласился боярин Шуба. — Опасно. И без тебя найдется у меня человек, который передаст, кому надобно, приветы Федора Бяконта. Но если знак у тебя есть с собой тайный, знак дай.

Поколебавшись, Якушка достал из-за пазухи железный перстень с печаткой, покоптил печатку над свечкой и оттиснул на кусочке бересты знак, который свидетельствовал о высоком доверии Москвы к человеку, имевшему его.

Боярин Шуба бережно завернул бересту в платок и спрятал в ларец. Заверил:

— Все сделаю, как надобно. Нынче вторник. Значит, в четверг мой человек будет в Переяславле-Рязанском. А ты задержись на денек-другой, поторгуй для вида и — с богом!

* * *

Домой Якушку проводили молчаливые холпы боярина Шубы.

Милава еще не спала. Открыла калитку на первый стук, посторонилась, пропуская Якушку во двор. Ничего не сказала, но Якушка почувствовал — рада, что вернулся благополучно.

Засыпая, Якушка думал, что судьба благодарно наградила его душевным участием, не сберечь которого — грех. И перед богом, и перед людьми, и перед самим собой — грех...

Хорошо было на душе у Якушки, хорошо и тревожно. Каменное спокойствие, к которому он привык за последние годы, таяло, как снег под весенним солнцем.

Но будут ли на проталине живые всходы? Прорастут ли семена любви и милосердия в его сердце, высушенном горем? Да и пришло ли время для нового счастья? Кто мог ответить на эти вопросы, если сам Якушка еще не знал?

Чувствовал только Якушка, что жить так, как он жил раньше, в окаменелом тоскливом одиночестве, он уже не сможет... А может, надежда на счастье уже и есть счастье?..

* * *

Все оборвалось на следующий день, оборвалось неожиданно, дико, стыдно.

Якушка и Милава шли по торговой площади. В толпе промелькнуло и скрылось будто бы знакомое лицо. Потом Якушку нагнали ратники наместника, молча заломили руки за спину, сорвали с пояса нож.

Подбежал толстенький человечек, завопил, тыкая пальцем в Якушку:

— Узналя его! Тать он! Серебро своровал с московского мыта! Держите его крепко!

Якушка вгляделся в безбородое, трясущееся от злости лицо. Так и есть — знакомый рязанский купчишка, приятель мытника Саввы Безюли, видел он его на Гжельской заставе.

Побледнев, отшатнулась Милава, в удивленных глазах — боль, укор, жалость, ужас — все сразу...

— Верь мне, Милава! Невиновен я! — только и успел крикнуть Якушка, пока ратники волокли его к двору наместника...

Боярин Федор Безум поначалу показался Якушке совсем не грозным: росточка небольшого, бородака причесана волосок к волоску, пальцами цепочку перебирает, а на цепочке — резной кипарисовый крестик.

Заговорил наместник негромко, с улыбочкой:

— Беглый, значит? С московской заставы? Ай-яй-яй, как нехорошо! На заставе служить надобно, не бегать. Говорят, старшим был на заставе? Совсем нехорошо, коли старший бежит, худой пример показывает. И серебро своровал? Еще того хуже. Что делать с тобой, не придумаю. За воровство правую руку отсечь надобно, да на цепь, да в земляную тюрьму. Что делать с тобой, может, сам посоветуешь?

— Дозволь, боярин, наедине поговорить, — решился Якушка.

— Людей, что ли, стыдишься? — язвительно пропел боярин. — Ну, да ладно. Ступайте, ступайте! — вдруг закричал Федор Безум, взмахивая руками.

Ратники, отпустив Якушку, затопали к двери. Вышел и доказчик-купец, повторив напоследок: «Тать он, доподлинно знаю!» Только один, молчаливый, остался сидеть в углу. Якушка покосился на него, но спорить не стал — понял, что человек не из простых. И, как бы подтверждая догадку Якушки, наместник сказал:

— Ну, говори, молодец, а мы с сотником послушаем. Как на исповеди говори. Самое время тебе исповедоваться. Может, и отпустим грехи твои.

И Якушка начал:

— Что с заставы бежал — верно, и что серебро с собой унес — тоже верно.

— Ишь смелый какой! — повернулся наместник к молчаливому сотнику. — Сразу повинился! И то верно, и другое — верно. А неверное что есть?

— Неверно, что тать я...

— Серебро своровал, а не тать? — насмешливо прищурился наместник. Сотник зло рассмеялся, ударил ножнами меча об пол.

— Тать чужое серебро ворует... — начал Якушка.

— А ты свое, что ли, взял?

— Не свое, но и не чужое...

— Ну-ка, ну-ка, объясни! — совсем развеселился наместник. Разговор, как видно, начинал ему нравиться, и Якушка, почувствовав это, заметно приободрился.

— С кого московский мытник то серебро насобирает? С купцов рязанских. А если я, рязанец родом, то серебро крукам прибрал да в рязанский город привез, разве это воровство?

— Ловок! Ловок! — смеялся наместник. — А ты не врешь, что рязанец?

— Вот те крест, не вру! Хотя и долгонько я в залесской земле пребывал, но думаю, и поныне в сельце Городне, что возле Осетра-реки, сродственники мои остались...

— А может, подосланный он? — пробасил из своего угла сотник. Под черными, закрученными вверх усами сотника хищно блеснули крупные зубы. — В пытошную подклеть его, по-иному заговорит!

Якушка протестующе вытянул руки, но наместник успокоил:

— Это сотник так, для примера предположил. А я, может, тебе поверю. Садись к столу, поговорим.

Бесконечным и мучительно тяжелым показался Якушке этот разговор. Наместник Федор Безум и хищнозубый сотник, имени которого Якушка так и не узнал, засыпали его

неожиданными вопросами, отвечать на которые приходилось тотчас, не задумываясь, чтобы не посеять подозрений у коломенцев.

«Кто нынче в больших воеводах у князя Даниила?»

«По каким градам стоит московское войско?»

«Сколько конных и сколько пешцев собирается на войну?»

«Воевода Илья Кловыня в чести ли? Кого еще из московских воевод князь Даниил жалует?»

«С кем из князей Москва ссылается, гонцов шлет?»

Допрашивали наместник и сотник умело, напористо, и Якушке немалого труда стоило не оступиться, не сказать явной неправды и, одновременно, утаить то, что, по его разумению, чужим знать никак не следовало.

Будто по тонкому льду ступал Якушка, рискуя ежесекундно провалиться в черную зловещую воду. Оказалось, что вести разговор иногда потруднее, чем корчевать вековые пни на лесной росчисти...

Особенно интересовался наместник Безум, почему вдруг прибавились ратники на Гжельской заставе (оказывается, знали об этом в Коломне!). Якушка ответил, пожимая плечами, будто недоумевая, почему наместник сам не догадался о таком простом деле:

— Потому на Гжели ратников прибавили, что боится князь Даниил Александрович за свой рубеж.

— Почему боится? — быстро переспросил наместник.

— Ордынское войско на бронницких лугах встало... Слухи пошли, что рязанцы с ордынцами собрались воевать московские волости...

— Так, так... — задумчиво произнес наместник, переглянувшись с сотником многозначительно. — Значит, Даниил рати ждет?

— Истинно так, боярин!

— А почему мало ратников на Гжель прибавили, если рати ждут? — вмешался сотник. — От рати заставу тысячами, а не десятками подкреплять надобно!

Якушка побледнел. Он понял, что если не найдет убедительного объяснения, то весь прошлый разговор пропадет даром. Ведь верно заметил проклятый сотник: пятью десятками подмóги большую рать не встречают! Вот и наместник уже смотрит без доброжелательства, подозрительно...

— То мне доподлинно неведомо, — нерешительно начал Якушка. — Но от себя мыслю — некого больше князю Даниилу на заставу посылать, к другим рубежам ушло московское войско. От Владимира князь Даниил бережется, от Смоленска, от Твери...

— Откуда знаешь? — снова вмешался сотник.

— Гонцы говорили, что на заставу с вестями прибегали. Старший ведь я был, мне все говорят...

Наместник удовлетворенно откинулся в кресле, спокойно сложил руки на животе. Видимо, Якушкины рассуждения сходились с его собственными мыслями о слабости Москвы на рязанском рубеже, и наместник, не удержавшись, укорил недоверчивого сотника:

— Говорено же и раньше тебе было, а ты сомневался!

— И теперь сомневаюсь, — упрямо возразил сотник.

— Ну и сомневайся себе на здоровье! — уже раздраженно крикнул Федор Безум. — А я сему человеку верю. И все сказанное им до князя Константина Романовича доведу.

— Повременить бы, Федор Семенович, — снова начал сотник, но наместник уже не слушал его. Ласково, прямо по-отечески, он обратился к Якушке:

— Как с тобой-то быть? Ладно, отпущу тебя с миром. И верно, что серебро не московское, а наше, рязанское. Верно я говорю? — (Якушка закивал головой, соглашаясь). — И не твое ведь серебро, верно? — (Якушка снова кивнул, но уже с сомнением: куда ведет наместник?) — А раз не твое серебро, мне отдашь! Тиуна с тобой пошлю за серебром.

— Боярин! — умоляюще начал Якушка.

— Ништо! Ништо! Товар у тебя есть, еще серебра наживешь. А я велю, чтоб торговать тебе вольно, без утеснений. Благодари за милость да ступай по-добру!

И расхохотался, довольный собой.

* * *

Милава, напуганная внезапным приходом тиуна и холопов с секирами, прижалась к стене за печкой. Якушка присел к столу, уткнулся лбом в сомкнутые кулаки. Тиун откинул крышку Милавиного сундука, где сохранялась злополучная калита с серебром, встряхнул ее рукой.



— Все серебро тут, иль еще где спрятал? Якушка, не поднимая головы, буркнул:

— Все!

Когда тиун и холопы ушли, громко хлопнув дверью, Якушка сразу засобирався. Достал из короба и заткнул за пояс нож, накинул кафтан поплоче, самый будничный. Поклонился Милаве на прощание:

— Не поминай лихом, хозяйка! Не так мыслилось мне расставание, но, видно, не судьба! Ты верь мне, Милава, верь! Вернусь! Любы вы мне, ты и маленький Ванюшка...

Уже от порога, спохватившись, добавил:

— Короб с товаром оставляю. Много больше там, чем Ивану за постой причитается. Доволен он будет, брат-то твой...

Переулками, задами Якушка пробрался к воротной башне. Караульный ратник равнодушно проводил его глазами. Так, с пустыми руками, города не покидают. Видно, торговый человек о своей ладье беспокоится, пошел проведать.

Якушка спустился к пристани, загремел цепью, отмыкая замок. Подбежал сторож Иван, поинтересовался:

— Далеко ли путь держишь?

— На Северку-реку, к рыбным ловцам. Расспросить хочу, почем рыба... Да ты не тревожься, что сбегу, — товар-то мой в избе остался!

Сторож засмутился, сдернул шапчонку, пожелал купцу доброго пути, а в торговле — прибыли. Куда как вежлив стал сторож Иван, узрев у Якушки серебро...

Прощай, Коломна-город!

Обратный путь показался Якушке Балагуру одновременно и тяжелее, и легче прошлого. Тяжелее потому, что пришлось выгребать против течения Москвы-реки, а легче — оттого, что впереди был конец всей дороги, ведь Якушка плыл не в тревожную неизвестность, а к своим...

У Софьинского починка его ждали дружинники, оставленные сотником Шемякой Горюном. Якушка перешел в большую воинскую ладью, улегся на корме под овчиной и забылся тяжелым сном.

Московские дружинники, исполняя строгий наказ Шемяки Горюна, гребли беспрерывно, сменяясь у весел. Никто не любопытствовал, не расспрашивал Якушку, откуда он приехал ночью и почему самая быстрая воинская ладья ожидала только его целую неделю. Если так приказано сотником Шемякой, значит, так и надобно. В Москве разберутся...

* * *

Много времени спустя Якушка Балагур узнал, что его спасла только собственная осмотрительность. Наместник Федор Безум послушался-таки своего сотника, послал ратников за Якушкой, чтобы учинить ему допрос с пристрастием.

Но ратники наместника опоздали...

Глава 6

Кому стоять на Оке-реке?

1

В год от сотворения мира шесть тысяч восемьсот девятый, на воздвижение¹, в канун первых зазимок, когда птицы в отлет трогаются, — московское войско выступило в поход.

На сотнях больших ладей поплыла вниз по Москве-реке пешая судовая рать.

По разным дорогам, сквозь леса, выбрасывая далеко вперед чуткие щупальца сторожевых разъездов, пошли к рязанскому рубежу конные дружины.

Князь Даниил Александрович Московский сам возглавил войско.

Поход на Оку-реку не начинал, а завершал рязанские заботы князя Даниила. В Москве к рязанским делам присматривались давно. Для Даниила Александровича не было тайной, что обширное и многолюдное Рязанское княжество изнутри непрочное. Не было в нем главного — единения. От Рязани давно уже отпали сильные старые города Муром и Пронск, в которых закрепились свои княжеские династии. Да и в самих рязанских волостях бояре косо поглядывали на князя Константина Романовича, ворчали на его властолюбие. Скрытое недовольство обратилось в

¹ 14 сентября 1300 года.

явную вражду, когда рязанский князь с честью принял беглых мурз из бывшего Ногаева улуса. «На кого променял князь Константин славных мужей, соль и гордость земли? — возмущались бояре. — На ордынцев безбожных, неумытых!»

В городских хоромах и глухих вотчинных углах Рязанского княжества сплетался клубок боярского заговора. Князь Даниил искал кончик нити в этом клубке, чтобы, потянув за него, намертво захлестнуть петлей-удавкой князя Константина. Отъезд на московскую службу черниговского боярина Федора Бяконта, связанного с рязанскими вотчинниками родством и дружбой, передал в руки Даниила искомую нить.

И потянулась эта нить из Москвы в Коломну — к боярину Шубе, из Коломны в Переяславль-Рязанский — к боярину Борису Верпрю, а от него еще дальше, в боярские родовые гнезда на Смедве, Осетре, Воже, Мече.

Обо всем этом не знал Якушка Балагур, когда пробирался поздним вечером ко двору коломенского вотчинника Федора Шубы, как не знал и о том, что не совсем понятные ему слова о гостевании в день воздвижения означали для посвященных срок похода. Но эти слова были подобны факелу, брошенному в уже сложенный костер.

Сразу зашевелились вотчинники в рязанских волостях, принялись снимать со стен дедовское оружие, собирать своих военных слуг, съезжаться в условленные места.

По лесным тропинкам переходили московский рубеж худо одетые неприметные люди, передавали на заставах грамотки, а в гра-

мотках обнадеживающие слова: готовы, дескать, служить господину Даниилу Александровичу, ждем...

Грамотки незамедлительно пересылались с застав в Москву, вручались в собственные руки большому боярину Протасию Воронцу или воеводе Илье Кловыне, и к началу сентября таких грамоток накопилось в железном воеводском ларце много...

А в остальном в рязанских волостях возле Оки-реки было по-прежнему тихо, и совсем немногие люди догадывались, что пройдет совсем немного времени, и загорится земля под ногами Константина Рязанского, и поймет он, ужаснувшись, что опереться ему не на кого, кроме собственной дружины да пришедших ордынских мурз...

Известия о незащищенности рязанского рубежа на Москве-реке, привезенные Яковской Балагуром и другими верными людьми воеводы Ильи Кловыни, оказались истинными. Даже кипчакский мурза Асай, на которого возлагали столько надежд в Рязани, не принял боя. Когда московская судовая рать причалила к берегу возле бронницких лугов, а позади ордынского стана выехали из леса конные дружины, мурза запросил у князя Даниила мира и дружбы, поцеловал саблю на верность и поставил под его стяг тысячу своих нукеров.

Даниил даже не удивился такому обороту дела. Не все ли равно было мурзе Асаю, от чьего имени владеть пастбищами — Константина Рязанского или Даниила Московского? И тот, и другой для мурзы чужие, кто оказался сильнее, за тем Асай и пошел...

Так, с бескровной победы на бронницких лугах, начался рязанский поход князя Даниила Александровича Московского. А дальше удача следовала за удачей.

С рязанской заставы успели послать гонцов в Коломну, чтобы предупредить наместника Федора Безума об опасности. Но гонцов перехватили в Марчуговских коленах люди местного вотчинника Духани Кутепова, давнишнего приятеля и собразника боярина Шубы. Гонцов связали, уложили на дно ладьи и повезли не в Коломну, а навстречу московскому войску. Духаня Кутепов с рук на руки передал их воеводе Кловыне, а сам остался с москвичами.

Дальше по Москве-реке рязанских сторожевых застав не было.

Встречные купеческие караваны поспешно сворачивали с быстрины, уступая дорогу воинским ладьям. Люди из прибрежных деревень прятались в лесах и оврагах, напуганные грозными возгласами боевых труб. Да и как было не испугаться? Могучее войско двигалось в ладьях по Москве-реке. Ослепительно блестели на солнце оружие и доспехи ратников. Бесчисленные стяги трепетали на ветру. Отбегала назад изорванная тысячами весел речная вода. Волны накатывались на берег и шумели, как в бурю...

* * *

В Коломне не ждали нападения, и это было продолжением удачи. В набат коломенцы ударили, когда московские ратники уже вы-

садились из ладей на берег и побежали к городским воротам.

Но ворота города коломенские сторожа все же успели закрыть.

Москвичи столпились под воротной башней, опасливо поглядывая вверх, на злоеющие черные щели бойниц. Но ни одна стрела не выскользнула из бойницы, ни один камень не упал. За воротами творилось что-то непонятное.

Якушка Балагур, подбежавший одним из первых, услышал доносившиеся из-за ворот крики, топот, лязг оружия. Но кто с кем там бьется? Ни один московский ратник еще не успел пробраться в город...

Потом все стихло. Ворота начали медленно приоткрываться.

Москвичи подались назад, настороженно подняли копьа.

Из ворот выехал боярин на рослом гнедом коне, меч его мирно покоился в ножнах, в поднятой руке — белый платок.

Якушка узнал боярина Федора Шубу, повернулся к своим, раскинул руки в сторону, будто прикрывая боярина от нацеленных копий, и закричал:

— Стойте, люди! Сей человек — слуга князя Даниила!

А из ворот выезжали другие коломенские бояре и их военные слуги, бросали на землю оружие и смирно отходили на обочину дороги, пропуская москвичей в город.

Якушка крикнул дружинникам, назначенным для пленения наместника Безума: «Замной!» — и первым нырнул под воротную башню. Перепрыгивая через трупы зарезан-

ных боярами воротных сторожей, дружинники выбежали на городскую улицу, которая вела напрямиком к торговой площади.

Был самый торговый день — пятница, но людей с площади будто ветром сдуло. Только стоявшие в беспорядке телеги да разбросанная по земле рухлядь свидетельствовали, что здесь только что был многолюдный торг.

Хрустели под сапогами дружинников черепки разбитых горшков.

«Вперед! Вперед!»

Перед воротами наместничьего двора выстраивались в рядок коломенские ратники. Их было совсем немного, последних защитников боярина Федора Безума — десятка три-четыре.

Москвичи ударили в копья, опрокинули их и, не задерживаясь, пробежали дальше, к хоромам наместника, выбили топорами двери.

Якушка прислонился к резному столбику крыльца, перевел дух.

Вот и исполнено последнее поручение сотника Шемяки Горюна. Он, Якушка Балагур, привел дружинников ко двору наместника самой короткой дорогой. И, как это часто бывает после свершенного дела, Якушкой вдруг овладело какое-то странное равнодушие, ощущение собственной ненужности. Все, что происходило вокруг, его больше не касалось. Только усталость чувствовал Якушка, усталость и давящую духоту.

Было и впрямь знойно, необычно знойно для осеннего месяца сентября. Якушка Балагур дышал тяжело, с надрывом — запалился. Из-под тяжелого железного шлема струйками стекал соленый пот. Кожаная рубаха,

поддетая под колючую кольчугу, облепила тело. Ладони были мокрые, будто только что вынутые из парной воды, и скользили по древку копья.

Веселые московские дружинники провели мимо Якушки наместника Федора Безума. Якушка равнодушно проводил его взглядом и отвернулся, удивившись своему безразличию.

Не далее как сегодня утром Якушка зло-
радно мечтал: «Посмотрю, наместник, как ты улыбаться будешь, когда руки за спину заломят!» Но вот свершилось: бредет наместник поперек двора, спотыкается, руки связаны за спиной ремнями, а радости у Якушки нет...

Из-за частокола донесся отчаянный женский крик.

И сразу Якушку будто по сердцу резануло: «Как Милава?»

Якушка сунул копьё кому-то из дружинников, выбежал за ворота.

Бой в городе уже закончился. Московские ратники неторопливо проходили по улицам. Коломенцев почти не было видно: притаились, попрятались по своим дворам. А в извилистом переулочке, который вел к Милавиному двору, и москвичей не было — совсем пусто.

Якушка свернул за угол и чуть не столкнулся с рослым человеком, закутанным в плащ. Хищно блеснул под усами знакомый Якушке оскал. «Сотник наместника!»

— А-а-а! — торжествующе протянул Якушка Балагур и обнажил меч. — Встретились наконец!

Сотник пригнулся, вытянул вперед руку с длинным ножом, прыгнул.

Якушку спасла кольчуга. Нож только скользнул по доспехам, и сотник, споткнувшись о ногу Якушки, покатился по пыльной траве. Якушка успел ткнуть его мечом в спину, а затем с силой опустил меч на голову сотника.

«Вот и не с кем больше сводить счета в Коломне!»

Якушка постоял мгновение, посмотрел, как расплывается вокруг головы сотника бурое кровавое пятно, и побежал дальше, подгоняемый тревогой за Милаву. Обманчива тишина, если такие волки по улицам бродят... Да и своих москвичей опасаться надо, не больно-то они добрые в чужом городе. Одинокую вдову долго ли обидеть?..

Возле Милавиного двора было тихо, калитка в исправности, заперта плотно — не шелохнешь. Точно бы все благополучно.

Якушка обтер лопухом окровавленный меч, достал платок, провел по лицу, по бороде; платок сразу потемнел от запекшейся пыли. Постучался. Не так постучался, как бы стал стучаться в любую другую калитку в Коломне, не громко и требовательно, а — бережно, костяшками пальцев.

Не сразу из-за частокола донесся голос Милавы:

— Кого бог послал?

Якушка облегченно вздохнул: «Жива!»

Крикнул весело, по-молодому:

— Принимай, хозяйка, прежнего постояльца! Якуш это!

Загремел отброшенный торопливой рукой засов. Милава выглянула и замерла, удивленная, — не узнала Якушку в облики княже-

ского дружинника. Потом кинулась ему на грудь, прижалась щекой к колючим кольцам доспеха.

Развязался и ненужно соскользнул на землю черный вдовый платок.

— Я ждала... Я верила... Ты вернешься...

Мягкие русые волосы Милавы сладко пахли луговыми травами.

Якушка прижимал ее голову к груди, и слезы текли по его щекам, и он удивлялся этим слезам, и радовался им, и еще не верил, что счастье уже пришло, и очень хотел в это поверить...

Оглушительный колокольный звон спугнул тишину. За избами взревели трубы, созывая московских ратников.

Милава вздрогнула, вопросительно подняла глаза.

— Не бойся, се не битва, — успокоил Якушка. — Видно, князь Даниил Александрович в город въезжает. И мне идти нужно. Но теперь уж ненадолго, — и добавил заботливо: — Ты калитку-то замкни покрепче, мало ли что...

Когда Милава скрылась за калиткой, Якушка поднял с земли уголек, нацарапал на досках калитки условный знак — два скрещенных меча. Дворы с таким знаком москвичам было приказано обходить стороной, хозяев не обижать. Два скрещенных меча означали, что здесь проживают свои люди, княжеской милостью отмеченные, неприкосновенные. Большого для Милавы пока что Якушка сделать не мог. Нет для ратника на войне своей воли, своей жизни...



Поперек торговой площади, очищенной от телег, ровными рядами стояли московские воины. Вдоль улицы, которая вела от городских ворот к площади, вытянулись цепи дружинников с копьями и овальными щитами.

Коломенцы выглядывали из-за спин дружинников, оживленно переговаривались, и на их лицах не было ни тревоги, ни недоброжелательства — будто своего собственного князя вышли встречать. Да по-иному, пожалуй, и быть не могло. Хоть и считалась Коломна рязанским городом, но больше тянулась к Москве, чем к Рязани...

Сплошным сверкающим сталью потоком вылились из-под воротной башни всадники на рослых боевых конях, подобранных по мастям: сотня — на белых, сотня — на гнедых, сотня — на вороных. Над островерхими шлемами покачивались копья с пестрыми флажками-прапорцами. Это открывала торжественное шествие победителей, красуясь удалью и богатством оружия, ближняя дружина московского князя.

Но сам Даниил Александрович был одет скромно, в простой дружинный доспех, и это поразило коломенцев, ошеломленных пышным многоцветием только что промчавшейся княжеской конницы. Только красный плащ да золотая гривна на шее отличали Даниила от простых дружинников. Бояре и воеводы, следовавшие за князем, выглядели куда наряднее.

Но лицо Даниила Александровича...

Не дай бог увидеть вблизи такое лицо,

если есть на душе какая-нибудь вина, если шевелятся в голове затаенные опасные мысли!

Глубокие поперечные морщины перерезали лоб князя, губы жестко поджаты, под сдвинутыми бровями не глаза даже — две сизоватые льдинки, холодные, колючие. Весь застыл князь Даниил Александрович, и белый конь плавно нес его, осторожно переступая ногами, будто боялся потревожить грозную неподвижность всадника.

И замирали приветственные крики на устах людей, когда князь проезжал мимо, и склоняли они головы, не смея поднять на него глаза.

Якушка стоял в цепи дружинников, кричал, как и все, когда князь приближался, и, как все, замолк, разглядев его окаменевшее лицо.

Таким видел Якушка князя Даниила Александровича лишь однажды, на Раменском поле под Владимиром, когда князь ехал к шатру ордынского посла Неврюя. Но тогда было понятно, смерть видел князь перед глазами, но почему же он такой сейчас, в минуты торжества?..

А князь Даниил думал о том, что торжествовать победу рано: мысли, мучившие его накануне похода, не оставляли в покое и теперь, представляли во всей тревожной обнаженности. Захватив Коломну, он окончательно вступил на скользкую опасную тропу, которая вела к недостижимой для многих князей вершине — власти над Русью. Или — к гибели, ибо немало уже славных князей не удержались на этой тропе и скатывались в

пропасть, увлекая за собой обломки своих княжеств. Перед глазами неотступно стоял пример старшего брата Дмитрия, вознесшегося было наверх и рухнувшего в небытие...

Думал Даниил Александрович о том, что на этой тропе больше нет для него обратного пути: только вперед и вперед, потому что в движение вовлечено уже множество людей, и он, князь, не властен что-либо изменить.

Взятие Коломны стало знаком для рязанских вотчинников, которые связали свою судьбу с московским князем. Отряды боярских военных слуг уже собирались поблизости на Голутвинском поле и становились бок о бок с московскими полками. Отступить означало — предать их...

Этого нельзя допустить. Отступи сейчас Даниил, и тысячеустая людская молва разнесет по Руси порочащие слухи о вероломстве и непостоянстве московского князя, и отшатнутся от него будущие друзья и союзники, и останется он в одиночестве, отторгнутый всеобщим недоверием от великих дел. Лишившийся доверия людей — лишается всего...

Не только вперед нужно было идти Даниилу Александровичу, но и до конца. Князь Константин Рязанский никогда не согласится отдать свои земли к северу от Оки-реки, составлявшие чуть ли не треть его княжества. Значит, закрепить за Москвой эти земли могла только смерть или пленение Константина, и именно это выводило начавшуюся войну за пределы обычных усобных войн, после которых противники мирно пировали и скрепляли дружбу взаимным крестоцелованием. Война с Константином будет идти не на жизнь, а на

смерть, на кон поставлены судьбы Московского княжества и его, Даниила, и сознавать это было страшно...

Бесповоротность начатого дела тяжело давила на плечи князя Даниила Александровича, омрачая радость первых побед. «Да полно, победы ли это? — спрашивал себя Даниил и честно отвечал: — Нет, еще не победы! Подлинные победы, за которые придется платить кровью, еще впереди. Пока же взято без труда лишь то, что само падало в руки...»

Среди шумного победного ликования князь Даниил Александрович думал о предстоящих тяжелых битвах, и этими своими думами был как бы отрешен от сегодняшнего торжества.

Но люди не догадывались о тревогах князя и считали, что он просто гневается на что-то, им непонятное, и замирали в страхе при его приближении...

3

Целый день на плотам и в больших ладьях перевозилась через Оку-реку московская конница. Пустел воинский стан на Голутвинском поле, а берег на рязанской стороне покрывался шатрами и шалашами.

К малым рязанским городкам Ростиславию, Зарайску и Перевитеску проворно бежали конные дружины; их повели местные проводники, слуги рязанских бояр.

А на следующее утро выступили в поход большие полки конной и судовой пешей рати. До города Переяславля-Рязанского, под

которым стояло воинство князя Константина, оставалось не более ста верст, четыре дня неспешного пути.

* * *

Города подобны людям. У каждого города свое начало и своя судьба. Города бывают исконные, единственно в своем роде, а бывают города повторенные, будто вылепленные по образу и подобию других.

Подобная печать вторичности лежала на Переяславле-Рязанском. Даже имя его повторило имена других русских градов — Переяславля-Южного и Переяславля-Залесского. И большая река, на которой стоял город, повторила названья иных русских рек: еще один Трубеж впадал в Днепр, а еще один — в Плещеево озеро. И малая речка Лыбедь, опоясавшая Переяславль-Рязанский, тоже носила не собственное, а повторенное имя: и возле Киева была Лыбедь, и возле Владимира, что на Клязьме. А название пригородного ручья — Дунай — и вовсе пришло из совсем уж немыслимой дали.

И люди населяли Переяславль-Рязанский больше пришлые, приносившие на чужбину из родных мест свой говор, свои обычаи, свою тоску по прошлой жизни. Так уж сложилась судьба Переяславля-Рязанского: начал он возвышаться после Батыева погрома, который сокрушил и обессилил старую Рязань. Как вода из продырявленного сосуда, утекали из старой Рязани люди — подальше от опасного Дикого Поля, в котором люто разбойничали ордынские мурзы. Утекали и скапливались в Переяславле-Рязанском, обретая убежище для

тела, но душой продолжая тянуться к родным пепелищам.

Может, оттого не покидало жителей Переяславля-Рязанского постоянное ощущение временности, неустойчивости их бытия, и не было в них одержимой любви к городу, чувства кровного родства с ним, которые только и делают непобедимыми первородные города?

Сам Переяславль-Рязанский не был городом-воином. С ордынской опасной стороны его оберегали старые крепости Белгорода, Ижеславля, Пронска, Ожска, Ольгова, Казаря, построенные еще при первых рязанских князьях.

На валах Переяславля-Рязанского стоял простой острог, каких давно уже не строили в сильных русских градах — не выдерживали однорядные бревна частокола ударов камнеметных орудий — пороков. Оборонять город могло лишь сильное войско, готовое сражаться в поле.

Поэтому князь Константин Рязанский, не надеясь на сочувствие горожан и крепость стен, собрал под городом ордынские тысячи. На них была вся надежда князя, потому что собственная дружина была немногочисленной.

* * *

Московские полки шли по Рязанской стороне¹, как по своей земле, не встречая сопро-

¹ Рязанская сторона — земли между Окой, Проней и Осетром, район развитого пашенного земледелия. Кроме того, в Рязанском княжестве было еще две «стороны» — Мещерская и Степная, примыкавшие к Дикому Полю.

тивления. Люди воеводы Ильи Кловыни, посланные впереди войска, оповещали рязанцев, что московский князь Даниил Александрович намерен покарать князя Константина за дружбу с ордынцами, но против рязанской земли гнева не держит. И рязанцы верили, потому что московские ратники не обижали людей в деревнях, потому что и впрямь при попустительстве князя Константина умножились татары в рязанской земле, татарские кони вытаптывали луга над Воре́й и Мечей, княжеские тиуны собирали добавочный корм мурзам, и стало опасно ездить по дорогам, на которых шныряли ордынские разъезды. Если князь Даниил освободит рязанцев от ордынской тягости — великое ему спасибо!

Кажущаяся легкость похода ублаживала москвичей. Да и как было не обмякнуть сердцем, если вокруг — благодатная, по-осеннему обильная земля, погожие дни бабьего лета, а над головами — косяки журавлей, отлетавших в ту же сторону, куда шли московские полки, — к югу, к солнцу?

Так бы идти и идти без конца, до самого теплого моря, как хаживали в старину на поганных половцев победоносные рати князя Владимира Мономаха. Предания об этих славных походах в московском войске знал каждый...

Осторожность воевод, которые старались поддерживать установленный походный порядок, казалась ратникам излишней. Москвичи шагали налегке, а кольчуги, оружие и тяжелые шлемы складывали на телеги. Ворчали, когда воеводы приказывали надевать доспехи: «Почему бы и дальше налегке не пойти?

Кого тут беречься? Отбежал, поди, князь Константин с ордынцами своими в Дикое Поле...»

И все вокруг, казалось, подтверждало это.

Бабы в деревнях выносили ратникам квас и студеную ключевую воду.

Мужики поднимали пашню под озими, копошились на полях, как будто и не было никакой войны.

Безмятежно дремали на пожелтевших луговинах стада.

Сторожевые разъезды, возвращаясь к войску, неизменно сообщали: «Дорога впереди чистая. На перелазах через Вожу и иные реки чужих ратных людей нет».

На Астафью-ветреницу¹, когда люди ветры считают (примета в этот день на ветры: если северные — к стуже, если южные — к теплу, если западные — к мокроте, если восточные — к вёдру), московское войско подошло к Переяславлю-Рязанскому.

Опытные воеводы князя Даниила точно соразмерили версты сухопутного и водного похода. Не успели ладьи судовой рати, поднимавшейся к городу по реке Трубеж, достигнуть Борковского острова, как с запада на пригородные поля выехали конные дружины. Конница еще ночью перешла Трубеж выше по течению и до поры схоронилась в оврагах и дубравах.

Князь Даниил Александрович, сопровождаемый телохранителями и пестрой свитой бояр и воевод, поднялся на холм. Отсюда

¹ 20 сентября.

были видны все окрестности Переяславля-Рязанского.

В открывшейся перед ним волнистой равнине для Даниила не было ничего неожиданного. Черный гребень городского острога с трех сторон опоясывался реками Трубежом и Лыбедью, и только с запада, где русла рек расходились в стороны, путь к Переяславу-Рязанскому не был защищен естественными преградами. Об уязвимом месте убежища князя Константина знали все, кто в прошлые немирные годы ходил походом на Переяславль-Рязанский. Знал об этом и князь Даниил. И Константин Рязанский позаботился о прикрытии опасного места: на равнине, между приближавшимся московским войском и городом, раскинулся ордынский стан.

Войлочные шатры, крытые кожами телеги на колесах из неструганых досок, дым бесчисленных костров. Вытопанная земля между юртами была черной, точно закопченной, и издали казалось, что на равнине лежит пепелище какого-то неведомого города, и не юрты возвышаются над ним, а печи сожженных домов.

Но это было не мертвое пепелище. В ордынском стане сполошно ударили барабаны, из-за юрт показалось множество всадников на коренастых лохматых лошадках.

Перед московскими полками была сплошная стена оскаленных лошадиных морд, медных панцирей, обтянутых бычьей кожей круглых щитов, каменно-бурых свирепых лиц под войлочными колпаками, а над ними покачивалась камышовая поросль множества копий.

В непробиваемой толще ордынских всадников, как бусинка в горсти песка, затерялась конная дружина рязанского князя Константина Романовича. Бунчуки ордынских мурз заслонили голубой рязанский стяг.

И московским ратникам показалось, что перед ними стоит одно ордынское войско и что не запутанные тропы княжеской усобицы привели их на поле перед Переяславлем-Рязанским, а светлая дорога войны за родную землю против извечного врага — степного ордынца, а потому дело, за которое обнажают они мечи свои, — прямое, богоугодное...

Преобразились ратники. Исчезло былое благодушие с их лиц, праведным гневом загорелись глаза, руки крепче сжали оружие. Торопливо перестраиваясь для боя, москвичи шаг за шагом двигались в сторону ордынского войска, невольно тянулись вперед, и не нужны были им одушевляющие слова, не нужен был доблестный княжеский почин, — люди и без того рвались в сечу, и воеводам было даже трудно удержать их на месте, пока на правый — переяславский — берег Трубежа не высадились пешая судовая рать...

* * *

Надолго запомнились князю Даниилу Александровичу последние минуты перед сечей, которую он впервые готовился начать один, без старшего брата и князей-союзников.

В торжественном молчании застыли позади княжеского коня бояре и воеводы, со-

ветчики в делах княжества и боевые соратники. Все они здесь, все!

Это были верные люди, давно связавшие с князем Даниилом свою судьбу. Торжество князя Даниила было их торжеством, как его неудача стала бы их личной неудачей. Вместе они были в дни беспокойного мира, вместе с князем были и на нынешнем опасном повороте Московского княжества...

Большой боярин Протасий Воронец, немощный телом, преклонного уже возраста, но по-прежнему злой в княжеской службе и неггибаемый духом...

Тысяцкий Петр Босоволков, сгоравший от ревнивого нетерпения, ибо именно ему обещано долгожданное самостоятельное наместничество в отвоеванных рязанских волостях, но твердо знавший, что путь к наместничеству лежит через победную битву...

Сотник Шемяка Горюн, погрузневший за последние годы, заматеревший до звероподобия — всклокоченная борода раскинулась на половину груди, шея распирает вырез кольчужной рубахи, могучие руки никак не прижимаются к бокам, так и держит их сотник чуть-чуть на отлете...

Архимандрит Геронтий, благословивший поход и без жалоб переносивший все тягости походной воинской жизни, не пожелавший сесть в крытый возок, но шагавший с пешим полком наравне с простыми ратниками...

Новый служебник боярин Федор Бякопт, который, казалось, больше всех тревожился за успех рязанского дела, в немалой мере подготовленного им самим, и только теперь уверовавший в благополучный исход...

Коломенский боярин Федор Шуба, включенный князем Даниилом в число ближних людей, и теперь мечтавший доказать, что возвышение — заслуженное...

Почтительно замерли, сбившись кучкой, коломенские и рязанские вотчинники, приятели и родичи Федора Шубы. Они поодиночке приставали к московскому войску во время похода и теперь, наконец собравшись вместе, радовались, что это их так много, вовремя отъехавших к князю Даниилу...

Все взгляды были обращены на князя Даниила Александровича и воеводу Илью Кловыню, которому было доверено начальствовать в этом бою.

И бронницкий мурза Асай был здесь. Он смотрел на грозного воеводу Илью Кловыню со страхом и восхищением и думал, что такому большому человеку нужно бы подъехать поближе. Время от времени мурза легонько трогал каблуками бока своего коня, и послушный конь подавался вперед, пока наконец Асай не оказался совсем рядом с воеводой. Не поворачивая головы, Асай ревниво скашивал глаза на своих сотников, стоявших у подножия холма: «Видят ли, что он, мурза Асай, ближе всех к старому багатуру, самому почтенному из воевод?..»

* * *

На ратном поле — две воли, у кого сильнее, тот и будет наверху. Воля полководца — в воеводах и ратниках, она с началом боя как бы уходит от него, растворяясь в войске. Ибо что еще может сделать полководец, если расставленные и воодушевленные им полки

уже окунулись в кровавую неразбериху битвы? В битве каждый ратник сам себе и воевода, и судья, и совесть — все вместе. Подвиг одного ратника может повести за собой сотни, а бегство десятка трусов повергнуть в смущение целый полк. Что может бросить полководец на весы уже начавшегося сражения? Засадный полк, прибереженный на крайний случай? Собственную доблесть, которая воодушевит ратников на том крошечном кусочке бранного поля, где эту доблесть увидят люди? Всего этого мало, ничтожно мало. Истинный полководец выигрывает битву до начала ее...

Князь Даниил Александрович верил, что сделал для победы все, что можно было сделать, а остальное — в руках войска и в руках божьих.

С устрашающим ревом, от которого вздыбились и заплясали ордынские кони, сбивая прицел лучникам, — ринулись вперед московские конные дружины, за считанные мгновения преодолели самое опасное, насквозь прошитое стрелами пространство между враждебными ратями, и врубались в татарские ряды.

Ржанье коней, крики, стоны раненых, лязг оружия, барабанный бой и вопли боевых труб слились в один оглушающий гул, и в густых клубах пыли беззвучно поднимались и опускались прямые русские мечи и татарские сабли.

От берега Трубежа набежала высадившаяся из ладей пешая московская рать и будто растворилась, втянутая страшным водоворотом битвы.



— Пешцы вовремя подоспели! — удовлетворенно отметил Илья Кловыня. — Как бы и рязанцы не вывели ополчение... Самое время им спохватиться...

Даниил Александрович кивнул, соглашась. Сказанное воеводой было очевидным. Сейчас, когда смешалась конница и длинные копы дружинников стали бесполезными, ножи и топоры проворных пешцев могли решить исход битвы. Воеводам городского ополчения нетрудно было догадаться...

Но городские ворота Переяславля-Рязанского по-прежнему были наглухо закрыты. Не покидал дубравы и московский засадный полк, приберегаемый князем Даниилом на случай вылазки из города.

А бой уже медленно откатывался от холма, на котором стоял Даниил Александрович: москвичи явно пересиливали. Из клубов пыли начали поодиночке вырываться ордынские всадники, мчались, нахлестывая коней, по топкому лугу между Лыбедью и Карасиным озером.

Потом побежали уже десятки ордынцев, и это казалось удивительным, потому что по прошлым битвам было известно: татары или бьются до смерти, или отбегают все вместе, по условленным сигналам. Если кто-нибудь бежал самовольно, то ордынцы убивали не только беглеца, но и всех остальных людей из его десятка, как бы храбро они ни бились, а за бегство десятка казнили всю сотню. Так гласила Яса покойного Чингисхана, самый почитаемый татарами закон...

Наконец наступил долгожданный миг, когда сломилась пружина ордынского вой-

ска и лавина всадников в войлочных колпаках, прильнувших к лошадиным шеям, с во-ем покати-лась прочь, к дубовому лесу, при-зывно шелестевшему багряной листвой за речкой Лыбедь.

Это была победа.

Небольшая кучка всадников, оторвавшаяся от татарской убегавшей лавины, стала забирать влево, к городу. Над ними бес-помощно метался рязанский стяг, наискосок перерубленный мечом.

Зоркие глаза степняка Асая разглядели в кольце всадников красный княжеский плащ.

— Князь Константин бежит! — завопил мурза и умоляюще протянул руку к Дми-трию Александровичу: — Дозволь, княже, по-охотиться моим нукерам!

— И мне с Константином свет Романови-чем перемолвиться желательно, — вмешался боярин Шуба. — Дозволь и мне поохотиться, княже!

— Перемолвишься, боярин, коли догнать сумеешь... Однако, думаю, князь Констан-тин раньше в ворота проскочит...

Но боярин Шуба только недобро усмех-нулся:

— Проскочит, коли ворота ему откроют. Только ведь боярин Борис Вепрь не зря в городе остался.

— Коли так, ступайте! — разрешил Да-ниил.

Мурза Асай и боярин Шуба разом сорва-лись с места, увлекаая за собой толпу нуке-ров, коломенских вотчинников и конных бо-ярских слуг.

Князь Константин Рязанский и его телохранители успели доскакать до города первыми, спрудились под сводами воротной башни, забарабанили древками копий и рукоятками мечей.

Тщетно!

Город Переяславль-Рязанский не впустил своего князя.

Князь Константин бессильно сполз с коня, скинул с головы золоченый княжеский шлем — честь и гордость владельца.

Всадники мурзы Асая и боярина Федора Шубы неумолимо приближались, и их было устрашающе много, чуть ли не по сотне на каждого телохранителя рязанского князя. Константин понял, что спасения нет, и приказал своим дружинникам сложить оружие.

— Кровь будет напрасной... Прощайте, дружина верная...

В ров полетели мечи и копы дружинников, кинжалы, легкие боевые секиры. Оружие беззвучно падало и тонуло в вязкой зеленой тине, скопившейся на дне рва.

Сверху, с городской стены, донесся сдавленный крик: «Ой, как же так, люди?!» Видно, немало людей смотрели через бойницы на бегство князя.

Беззвучно взметая копытами желтую пыль, накатывалась на князя Константина лавина чужих всадников. Среди татарских колпаков поблескивали железные шлемы боярских слуг. Вот они совсем рядом. Скатились с коней, набежали, поволокли князя Константина, выворачивая назад руки, — прочь от стены.

Насмешливый знакомый голос гаркнул в самое ухо:

— Со свиданьем, княже! Собирался ты привести меня в Рязань неволею, а я сам пришел! То-то приятная встреча!

Константин Романович с трудом повернул голову, узнал:

— И ты здесь, боярин Федор? Говорили про твою измену, да не поверил я... Впредь наука... Иуда ты! Иуда Искарот!

— Неправда твоя, князь, и в словах видна! Федор Шуба в измене отроду не был! Забыл ты, князь, что не холоп тебе Шуба, а боярин извечный, слуга вольный. Отъехал на службу к князю Даниилу не изменой, но по древнему обычаю, как деда и прадеды делали, слуги вольные, а потому перед богом и людьми — чист!¹ Отринулся ты от правды, княже, а потому и ущерб терпишь...

Уже вслед князю Константину, снова склонившему голову на грудь, боярин Шуба крикнул совсем обидное, злое:

— О науке на будущее говоришь? А того не знаешь, нужна ли тебе впредь наука княжеская. Может, не князь ты больше, и князем не будешь. То-то!..

Возле холма, на котором по-прежнему стоял Даниил Александрович, плененного рязанского князя переняли дружинники Шемяки Горюна, окружили плотным кольцом и повели к оврагу, подальше с глаз люд-

¹ Отъезд — феодальное право перехода вассала на службу к другому сюзерену. На Руси правом отъезда пользовались «слуги вольные» и бояре, и отъезд не считался изменой. Право отъезда было отменено только в XV веке, при великом князе Иване III.

ских. Так распорядился Даниил Александрович: хоть и поверженный враг перед ним, но все же князь остается князем, и смотреть простым людям на его унижение — негоже...

Медленно оседала пыль над бранным полем, серым саваном покрывая павших. А их было много — и ордынцев, и москвичей. Среди ордынских полосатых халатов поблескивали кольчуги убитых дружинников, луговым разноцветьем пестрели кафтаны пешцев из судовой рати.

Пошатываясь от ран и усталости, брели к полковым стягам уцелевшие москвичи.

Битва закончилась.

Пора было приступать к первому строению мира. Взять победу — мало, нужно уметь взять и мир.

* * *

В шатер князя Даниила Александровича явились большие люди Переяславля-Рязанского: бояре, духовенство, посадские старосты. Переяславцы были без оружия и доспехов в нарядных кафтанах, как будто не чужая рать стоит под городом, а посольство дружеского княжества. Холопы внесли на серебряных подносах почестные дары.

Боярин Борис Вепрь от имени града поцеловал крест на верность московскому князю, и священник почитаемого храма Николы Старого скрепил крестоцелование божьим именем.

Князь Даниил Александрович торжественно вручил Борису Вепрю булаву переяславского наместника и отпустил горожан, пообещав

щав городу не мстить и никакого урона не причинять.

Свое обещание Даниил сдержал. Ни один московский ратник не вошел в город, сохраненный от разорения добровольной сдачей. На благодарственном молебне в церкви Николы Старого присутствовал только тысяцкий Петр Босоволков, будущий наместник приокских волостей.

Три дня простояло московское войско на костях, на бранном поле, и все три дня в воинский стан приходили переяславцы, и велись у костров мирные беседы, и москвичи хвалили хмельное переяславское пиво, которое оказалось слаще и светлее московского. Купцы безопасно выносили товары из города и уплывали, не задерживаемые никем, по своим надобностям. На луг между Лыбедью и Карасиным озером пастухи выгнали городское стадо.

Да полно, была ли вообще война с рязанским князем Константином? Да и был ли сам-то князь Константин Романович?

Бесследно исчез князь Константин, и только немногие люди знали, что ночью окруженный безмолвными суровыми стражами, он был увезен в крытой ладье московским сотником Шемякой Горюном и что остался Константину единственный выбор: смириться или закончить дни свои в московской тюрьме, в тесном заключении...

Но пружина войны, благополучно миновав Переяславль-Рязанский, продолжала еще раскручиваться сама собой.

Тысяцкий Петр Босоволков с конным полком и дружинами переяславских вотчин-

ников двинулся на старую Рязань — добывать доброхотов князя Константина в столице княжества.

Выбранные Федором Шубой и Борисом Вепрем рязанские бояре со своими военными слугами разъехались по малым крепостям, чтобы везде сменить воевод князя Константина, без остатка выкорчевать корни его из рязанской земли.

Глубоко пахал князь Даниил Александрович, взрыхляя пашню под московский посев!

4

На второй неделе октября — месяца-грязника, который ни колеса, ни полоза не любит, — войско князя Даниила Александровича покинуло Рязанское княжество.

Обратная дорога оказалась трудной и длительной, потому что осенние дожди размыли лесные дороги, а судовой рати пришлось выгребать против течения Оки и Москвы-реки.

Москвичи уходили из рязанской земли так же мирно, как входили в нее. И рязанцам казалось, что ничего не изменилось в их княжестве. Вернувшись в села, рязанские вотчинники принялись собирать обычные осенние оброки. Тиуны из городов приехали за условленной долей ордынской дани. Суд вершили прежние тысяцкие, а если кто из них был поставлен заново, то из своих же, известных людей.

В Коломне на наместничьем дворе по-хозяйски распоряжался боярин Федор Шуба, коренной коломенец, и остальные власти то-

же были свои. Только новый сотник Якуш Балагур был из москвичей, но и он породнился с городом, обвенчавшись с коломенской вдовой Милавой. Весьма это понравилось горожанам...

А в остальном ничего не изменилось и в Коломне, разве что дани из коломенских волостей отвозили теперь не в Рязань, а в Москву, но были те дани не больше и не меньше прежних. Не замечали люди особых перемен.

А изменилось многое, и не только в том было дело, что Московское княжество расширилось почти вдвое, вобрав в себя земли по Оке-реке.

Рязанский поход принес Даниилу Александровичу громкую славу, и потянулись на службу к удачливому князю бояре и слуги вольные из других земель. К Москве отъезжали не только малые и обиженные несправедливостью вотчинники, но бояре сильные, известные. Черниговский боярин Родион Нестерович привел в Москву целый полк, семь сотен детей боярских и военных слуг, не считая холопов и прочей челяди. Предстал гордый боярин пред очами князя Даниила, подал рукояткой вперед свой прославленный меч. Растроганный Даниил Александрович щедро наделил его вотчинами в новых московских владеньях и приблизил к себе.

Москва праздновала победу, и не было счета пирам, как не было счета княжеской щедрости, серебряным дачам и соболиным дареным шубам. Но по селам князь Даниил своих бояр и воевод не распустил, как делал обычно поздней осенью. Войско стояло наго-

тове, чтобы доказать сомневающимся право Москвы на коломенские волости.

Правда, князья-соперники спохватились, когда рязанское дело уже завершилось и изменить что-либо было трудновато. Но все-таки князь Даниил с тревогой ждал княжеского съезда, который на этот раз собирался не в стольном Владимире, а в маленьком удельном Дмитрове: ехать к великому князю Андрею остальные князья не пожелали, опасались вероломства.

Необычным был дмитровский княжеский съезд. Приехали на него многие князья, а делами вершили совсем немногие. Переговаривались за закрытыми дверями великий князь Андрей Александрович с Михаилом Ярославичем Тверским, Михаил Тверской с Даниилом Александровичем Московским, Даниил с великим князем Андреем, и опять великий князь с Михаилом Тверским, — по кругу, будто и не было в Дмитрове иных князей.

А удельные владетели только боязливо приглядывались к сильным князьям, старались вызнать, о чем они говорят на тайных встречах, но те свои тайны берегли крепко.

Холоп великого князя, Бузлица, выговорив себе в награду две гривны серебра, повелел смиренному князю Ивану Стародубскому, что старшая-де братия делит между собой отчины малых князей. Перепуганный Иван прибежал к великому князю Андрею, упал в ноги и взмолился, чтобы оставили ему хотя бы половину его княжества. Андрей Александрович немало удивился, а потом, все узнав, долго хохотал. Но своего холопа Бузлицу велел избить батогами и вырвать

ему лживый язык, чтобы другим лукавить и наветничать ради корысти неповадно было...

Последний день княжеского съезда. В хоромах князя Василия Константиновича, который держал город Дмитров вместе с заволжским Галичем и наезжал в свою вторую столицу не каждый год, собрались князья. Великий князь Андрей Александрович, князь Михаил Тверской и князь Даниил Московский сообща призвали меньшую братию целовать крест на неприкосновенность княжений, кто чем на сей час владеет. Несогласных не было: не отнимают своего, и то хорошо! Умирились между собой князья и разъехались, успокоенные. «Слава те господи, все осталось по-прежнему! А Москва пусть коломенские волости за собой держит, вроде бы ничьи они, раз Константин Рязанский в полон попал!»

Тогда еще не были произнесены вслух слова, которые вскоре разрушили до основания все строение мира, достигнутое на княжеском съезде в Дмитрове.

А слова эти — «перяславское наследство»!

Глава 7

Переяславское наследство

1

В одиннадцатый день мая, на Мокия-мокрого, когда багряный восход солнца предвещал грозное и пожарное лето, — в Москву приехал неожиданный гость.

Воротным сторожам, которые принялись было расспрашивать, кто он и откуда, приезжий ответил неопределенно, не называя имени своего:

— К господину вашему Даниилу Александровичу, по княжескому делу...

Десятник Гриня Ищенин выглянул в калиточку, прорезанную в воротах, и засомневался, стоит ли впускать приезжего человека в город раньше положенного часа. На первый взгляд, приезжий был не из больших людей: закутался до самых глаз в простой суконный плащ, шапка у него была тоже простая, с небогатой беличьей опушкой, а спутники его выглядели и того беднее — бурые кафтаны, войлочные колпаки, на ногах — чеботы. Тут еще подумать надобно, по чину ли московскому десятнику перед ними шапку ломать...

— Чего медлишь! Отворяй! — нетерпеливо и требовательно крикнул всадник, дернувшись в седле. Под плащом у него коротко звякнуло железо доспеха. Кончик ножен, выглянувший на миг из-под полы, окован серебром, а на серебре — затейливый прорезной узор, а в прорезях — красный бархат. В бо-

гатых ножнах носит меч приезжий человек, прямо-таки в княжеских...

Десятник всмотрелся повнимательнее.

Конь под приезжим был рослый, видный, с широкой грудью — не простой конь, цены такому коню не было...

Но даже не богатое оружие и не воинский конь убедили Гриню Ищенина, а глаза незнакомца — пронзительные, гневно прищуренные. Так повелительно простые люди глядеть не приучены...

«Почему сразу не заметил? — ужаснулся Гриня. — Недосмотрел, недосмотрел... За такой недосмотр воевода Илья Кловыня не похвалит, нет, не похвалит...»

Исправляя оплошность, десятник собственноручно откинул засовы, уважительно поклонился приезжему человеку и пошел, приволакивая раненную в рязанском походе ногу, впереди его коня — показывать дорогу.

На улицах Кремля было безлюдно. Москва еще спала, и лишь над немногими дворами поднимались струйки дыма: самые наиревностнейшие хозяйки начали запаливать очаги.

Дремали караульные ратники у княжеского крыльца, оперевшись на древки копий.

Приезжие спешились, встали молчаливой кучкой.

Один из дружинников, выслушав тот же немногословный ответ незнакомца — «К Даниилу Александровичу, по княжескому делу!» — пошел докладывать.

Ждать пришлось долго. В такой ранний час нелегко было добудиться дворецкого Ивана Романовича Клушу, а помимо него к князю неизвестных людей не допускали. Так

раз и навсегда распорядился Даниил Александрович, и стража выполняла это неукоснительно.

Приезжие ожидали смиренно, не выказывая нетерпения.

Гриня Ищенин, глядя на них — плохо одетых и невзрачных рядом с нарядными княжескими дружинниками, — снова засомневался, верно ли поступил, решившись нарушить покой такого важного боярина, как Иван Романович Клуша. За это могли и не похвалить...

Успокоился Гриня лишь тогда, когда с крыльца неожиданно сбежал дворецкий и обнял незнакомца в плаще, как ровню.

«Слава богу, и на сей раз пронесло! — перекрестился Гриня. — Нужно не забыть свечку поставить у Спаса на Бору!»

Так суеверный десятник поступал, если сомнительное дело заканчивалось благополучно. Не первая это будет свечка, поставленная Гриней по зароку в церкви Спаса, и не десятая даже. Воротная служба опасна, поскользнуться на ней легче легкого, а в ответе за все он один, десятник Гриня Ищенин...

Гриня потоптался еще немного возле княжеского крыльца, перекинулся со знакомыми дружинниками пустяшными словами, и зашагал прочь, успокоенный.

Прохладный утренний ветерок отдавал дымом. Но это был не горький, тревожный дым пожара, а мирный хлебный дух, предвестник полевой страды: еще не кончилась никольская неделя, мужики на полях выжидали прошлогоднее жнивье, и легкое дымное марево постоянно висело над Москвой. И думы у Грини Ищенина были мирные, домаш-

ние. «От Сидорова дня первый посев льну, на Пахомия-бокогрея поздний посев овса, а там и Фалалей-огуречник недалеко¹. Надобно работника взять на двор. Одной бабе не управиться, сам-то я больше в карауле...»

Шел Гриня по утренней Москве, выбросив из головы недавние заботы. Он, Гриня, свою службу исполнил, пусть теперь дворецкий Клуша беспокоится...

* * *

А дворецкий Иван Клуша в тот самый час стоял перед дверью в княжескую ложницу и мучился сомнениями.

О приезде боярина Антония, ближнего человека князя Ивана Переяславского, следовало бы доложить немедленно: только важное дело могло привести боярина в Москву. Но будить князя было боязно. Давно прошли те благословенные времена, когда к Даниилу Александровичу люди ходили запросто, без страха божьего в душе. А тут еще телохранитель княжеский Порфилий Грех будто нарочно подсказывает, что засиделся Даниил Александрович вчера допоздна, все грамоты с боярином Протасием читали. Комнатный холоп Тиша тоже неодобрительно качает головой: не дают, дескать, покоя батюшке Даниилу Александровичу...

Так и не решился боярин Клуша сам постучаться в двери.

Наконец холоп Тиша почувствовал по одному ему известным приметам пробуждение князя и неслышно проскользнул в ложницу.

¹ Сидоров день — 14 мая, Пахомий-бокогрей — 15 мая, Фалалей-огуречник — 20 мая.

Почти тотчас раздался голос Даниила Александровича:

— Пусть войдет.

Иван Клуша перекрестился, шагнул через высокий порог.

Князь полулежал на постели, откинувшись на подушки. Белая исподняя рубаха распахнулась, волосы упали на глаза, а сами глаза со сна припухшие, будто недовольные.

Но заговорил князь без раздражения — знал, что без крайней нужды тревожить его не осмелились бы:

— С чем пришел, боярин?

— Антоний из Переяславля прибежал. Говорит, дело неотложное.

— Отведи в посольскую горницу, скоро буду, — сказал князь и, заметив, что дворецкий нерешительно топчется на месте, спросил резко: — Чего еще?

— Кого из думных людей прикажешь позвать?

— Никого. Один говорить буду. Сотник Шемяка меня проводит.

Холоп Тиша поставил на скамью возле постели серебряный таз с ледяной родниковой водой, положил рядом рушник. Даниил Александрович скользнул взглядом по задиристым красным петухам, вышитым по краю рушника, улыбнулся: «Ксеньино рукоделье!»

Опять неслышно приблизился Тиша. В одной руке холопа — нарядный кафтан с серебряными пуговицами, в другой — белая холщовая рубаха. Даниил молча указал на рубаху, давая понять, что оденется по-домашнему. Сапоги Тиша уже сам подал кожаные, а не нарядные сафьяновые.

Ни комнатный холоп, ни телохранители в каморке перед ложницей, ни сотник Шемяка Горюн, провожавший князя в посольскую горницу, не заметили на лице Даниила Александровича и тени беспокойства. Безмятежным казался князь, буднично-строгим.

А между тем князя переполняло нетерпеливое ожидание, готовое выплеснуться наружу и сдерживаемое только усилием воли да давней привычкой не показывать людям ни радости, ни печали.

Князь Даниил Александрович догадывался, зачем приехал переяславский боярин, и спешил убедиться в справедливости своей догадки, ибо с этим было связано многое, очень многое...

* * *

Давно уже отгорел у князя Даниила гнев на упрямое противление боярина Антония, которое тот показал при встрече на речке Сходне. Да и сам Антоний изменился. Понял все-таки честолюбивый боярин, что напрасно связывал с князем Иваном свои надежды. Не по плечу оказались молодому переяславскому князю великие дела. Истинным и единственным наследником Александра Невского стал Даниил Московский, его младший сын! Понял это Антоний и потянулся к младшему Александровичу неугомонным сердцем своим, не смирившимся с сонным покоем удельного бытия. Твердо принял боярин Антоний сторону московского князя, начал служить ему не льстивым словом, но делом и, оставаясь жить в Переяславле, быстро превратился в одного из самых близких и необходимых Даниилу людей.

Не на Переяславль, а на Москву замыкались теперь тайные тропы доверенных людей боярина Антония, предусмотрительно рассаженных им по разным городам и княжествам. Эти тропы привели ко двору Даниила Александровича новгородского купца Акима, костромского боярина Лавра Жидяту, Можайского вотчинника Михаила Бичевина и иных многих, для московского князя полезных людей.

И сам боярин Антоний часто приезжал в Москву.

Каждый его приезд подсказывал Даниилу Александровичу новый, неожиданный поворот в сложном переплетении межкняжеских отношений. Превратившись волей судьбы из великокняжеского советчика в боярина не приметного удельного владельца, Антоний продолжал мыслить широко, охватывая взглядом своим всю Русь.

Беседы Даниила Александровича и боярина Антония шли на равных, и трудно было понять, кто кого ведет за собой: боярин ли превратил князя в исполнителя своих дерзких замыслов, князь ли сумел поставить изощренный ум и опыт боярина на службу Московскому княжеству. Да и важно ли было, кто кого опережал в мыслях, направленных к общей цели? Главное, сошлись воедино устремления двух незаурядных людей, и единение это было плодотворным...

В глубокой тайне они обговаривали, как передать в руки Даниила отчину бездетного князя Ивана — Переяславское княжество.

Свершить это было непросто, совсем непросто!

О том, что болезненному Ивану Переяславскому жить оставалось недолго, знали все. Сильные князья готовились вступить в спор за выморочное Переяславское княжество, и у каждого были в этом споре свои козырные карты.

За великого князя Андрея Александровича был древний обычай, по которому выморочные княжения переходили к великому князю, и нынешнее старшинство в роде Александровичей. Даниил Московский был младшим Александровичем, а Андрей — средним. Переяславль всегда принадлежал старшему в роде!

За Михаилом Тверским стояла почтительная слава самого сильного князя на Руси, подкрепленная многочисленными полками. Неразграниченность тверских и переяславских волостей на Нижней Нерли и Средней Дубне давала ему удобный повод ввести свои дружины в Переяславское княжество якобы для защиты спорных земель. Князя Михаила подталкивала ревность к московскому князю, только что отхватившему чуть не треть рязанских земель, тогда как Тверское княжество оставалось в прежних границах. На победу в прямой войне с Тверью рассчитывать было трудно...

Князю Даниилу необходимо было найти нечто такое, что уравнивало бы и древнее право великого князя Андрея, и военную силу Михаила Тверского. И это нечто было отыскано в доверительных беседах с боярином Антонием.

Духовная грамота князя Ивана, которая добровольно передавала бы Переяславское

княжество Москве! Завещание братинича Ивана любимому дяде своему князю Даниилу Александровичу!

Боярин Антоний поручился, что духовная грамота — будет.

Не с завещанием ли князя Ивана он приехал в Москву?

* * *

Нетерпеливо убыстряя шаги, Даниил Александрович почти бежал по переходам дворца и в посольскую горницу ворвался стремительно. Молча положил руки на плечи боярина Антония, вскочившего при его появлении, чуть не силой усадил обратно на скамью, сел рядом.

Боярин Антоний покосился на Шемяку Горюна, остановившегося в дверях. Шемяка понимающе кивнул, неуклюже выпятился за порог, прикрыл дверь и плотно прислонился к ней спиной. Это было тоже раз и навсегда оговорено: сторожить тайные беседы князя Даниила надлежало самому сотнику, других людей даже за дверью быть не должно...

— Час настал, княже! — торжественно произнес Антоний, протягивая Даниилу Александровичу пергаментный свиток с печатью красного воска, подвешенной на красном же крученом шнуре.

Князь Даниил внимательно осмотрел печать. На одной стороне печати был оттиснут святой Дмитрий на коне, покровитель покойного великого князя Дмитрия Александровича, на другой — стоявший в рост Иисус Христос. Да, это была печать старшего брата Дмитрия, которая стала по наследству печатью Переяславского княжества!

Медленно, намеренно сдерживая свое нетерпение, Даниил Александрович развернул пергаментный свиток, пробежал глазами уставное начало:

«Во имя отца и сына и святого духа. Се я, грешный худой раб божий Иван пишу духовную грамоту, никем не принуждаем, недужный телом, но умом своим крепкий...»

Дальше шло главное — то, ради чего была написана духовная грамота переяславского князя, и Даниил стал читать вслух, и Антоний вторил ему, как эхо:

— «...благословляю своею отчиною, чем меня благословил отец мой, градом Переяславлем и иными градами, волостями, селами и деревнями, тамгою, мытом и прочими пошлинами, благодетеля моего Даниила Александровича Московского. А кто сею грамоту порушит, судит того бог. А се послухи¹: отец мой духовный Иона, священник Феодосий, поп Радища...»

Даниил Александрович бережно свернул пергамент, поднял глаза на Антония:

— Как сумел?

— Духовная грамота — как тебе, княже, ведомо — давно мною написана, да только князь Иван печатью ее не скреплял и послухов не звал. Сердился Иван, когда о духовной с ним заговаривали. Говорил: жив еще я, рано отпевать собрались! Только в канун Иоанна Богослова, когда занедужил крепко, ноги отнялись и лик пухнуть стал, — велел Иван духовную грамоту печатью и приложением руки послухов скрепить. А наутро сов-

¹ П о с л у х — свидетель.

сем худо стало Ивану, людей не узнавал. Мыслью, одноконечно представится князь Иван...

— Вёдома ли переяславцам последняя воля князя Ивана?

— Думным людям ту духовную грамоту читали...

Даниил Александрович подошел к концу.

Слюдяная оконница по теплomu времени была сдвинута вбок, и весенний ветер свободно задувал в горницу, перебивая утренней свежестью пыльную духоту ковров и сладкий тлен воска.

Где-то далеко, за лесами, умирал племянник Иван — верный, но слабый друг...

В душе Даниила не было ни сожаления, ни печали. То, что происходило, — должно было произойти, и если бы вдруг случилось чудо, если бы князь Иван поднялся со смертного одра, — это было бы неожиданным препятствием на пути Даниила, а отнюдь не радостью...

Не сегодня он, князь Даниил Александрович Московский, перешагнул через естественную человеческую жалость к подобным себе. Гораздо раньше это случилось, — наверно, еще тогда, когда он впервые возложил на себя золотую гривну московского князя. Все следующие годы были для Даниила непрерывной битвой с самим собой, с состраданием, бескорыстной добротой, участием — светлыми чувствами, необходимыми человеку, но неизменно оказывавшимися помехой в княжеских делах.

Он, князь Даниил Александрович Москов-

ский, выиграл эту незримую битву. Окружавшие люди казались теперь Даниилу лишёнными права на собственную жизнь, на свое отдельное счастье, не подчиненное величественной цели — возвышению Московского княжества...

«Что напишут летописцы после смерти князя Ивана? — спокойно размышлял Даниил. — Что тихий был князь, и смирный, и любезный всем, и к божественным церквям прилежный зело, и призревал на своем дворе нищих и странников, и столь был добродетельным, что многие дивились на житие его? Все так, все верно, сущим праведником жил князь Иван! Но это же жизнь не князя, а чернеца, святого угодника! И каков оказался итог его жизни?

Было древнее и сильное Переяславское княжество — и не будет его. Исчезнет даже подобие мирного покоя, в котором жили переяславцы последние годы под незримой защитой Москвы. Земля их станет ратным полем, на котором скрестят мечи другие, сильные князья, не умильные праведники, но — воители и властелины!

А если дальше заглянуть?

Орда черной тучей нависла над Русью. Крестом от нее отгородишься, что ли? Удельные князья раздирают землю на кровоточащие куски. Молитвой их вместе соберешь?..

Так кто же будет правым в глазах потомков, безжалостный Даниил или живший лишь благодной жалостью Иван? Не оборачивается ли жалость Ивана на деле худшей безжалостностью? Ведь не в переяславские

волости бегут люди, а в московские. Потому бегут, что надеются найти в Москве добро. И находят, защищенные сильным князем от чужих ратей!

Значит, безжалостность князя Даниила на пользу тем самым людям, которых он не жалеет?! Может, здесь и таится истина?»

— ...и еще я советую, княже, торопиться... — глухо, будто издалека, донесся голос боярина Антония.

— А? Чего говоришь? — очнулся от своих дум князь Даниил.

— Говорю, поторопиться надо. У великого князя Андрея, да и у Михаила Тверского тоже, могут в Переяславле доброхоты найтись. Гонцов пошлют, упредят...

— Разумно советуешь. Наместников своих пошлю в Переяславль нынче же. Да что наместников! Сына старшего пошлю, Юрия! И сам, если надобно, следом пойду с полками! Москве без Переяславля не быть!

Даниил Александрович быстрыми шагами пересек горницу, толкнул дверь:

— Собирай думных людей, сотник! И княжича Юрия позови!

2

Сразу нарушилось в Москве будничное течение жизни.

Гулко простучав копытами под сводами Боровицких и Великих ворот, уносились гонцы в московские города и села — созывать земское ополчение.

Дружинники выводили из-под навесов коней, чистили оружие и доспехи, перегораживали сторожевыми заставами все дороги,

уводившие из Москвы. Приезжим торговым людям было приказано до поры задержаться в городе.

Княжеские тиуны и сотники хлопотали возле телег, снаряжали воинские обозы.

На торговой площади, под стенами Бого-явленского монастыря, собирались со своими военными слугами и смердами-ополченцами подмосковные вотчинники.

Ржанье коней, звон оружия, конский топот, растревоженный гул множества голосов переполняли город, и казалось, только крепостные стены еще удерживают буйную, готовую выплеснуться наружу, силу Москвы.

И вся эта сила собиралась для того, чтобы властно и грозно поддержать княжича Юрия Данииловича, уже выехавшего с сотней дружинников на Великую Владимирскую дорогу. С Юрием были черниговский боярин Федор Бяконт и старый дружинник Алексей Бобоша, назначенные московскими наместниками в Переяславль.

А боярин Антоний со своими молчаливыми спутниками выехал еще раньше и растворился в лесах за Неглинкой. Потайные, многим людям известные тропы должны были привести его в Переяславль раньше москвичей. Так было задумано с князем Даниилом: княжича Юрия и наместников введет в город сам большой боярин переяславского князя.

Для Юрия это был первый самостоятельный поход, самое начало княжеского пути, тот поворотный в жизни день, который для отца его, князя Даниила Александровича, наступил три десятка лет назад.

И тогда был весенний месяц май, и тогда была впереди тревожащая неизвестность, и тогда лишь сотня дружинников была под рукой молодого предводителя, но путь Юрия не был повторением отцовского пути.

Даниил отъезжал на княжение с чужими, навязанными ему волей старшего брата, владимирскими боярами, а рядом с княжичем Юрием покачивались в седлах люди, в верности и усердии которых не было сомнений.

Юного Даниила, — князя-приймака, с детства скитающегося по чужим княжеским дворам, — мало кто знал на Руси, и отъезд его в Москву остался почти незамеченным. Одним удельным князем на Руси больше, что с того? А за Юрием, наследником Московского княжества, внимательно следило множество глаз, старавшихся по поступкам сына угадать скрытые намерения его сильного отца, князя Даниила Александровича.

И вместе с сотней дружинников по Великой Владимирской дороге незримо двигались за княжичем Юрием могучие московские полки, устрашая врагов тяжелой поступью. А Даниила в его первом походе никто не боялся...

Нет, не с самого начала вступал Юрий на княжеский путь, а с той высоты, на которую поднял княжество отец его Даниил Александрович, и в этом был итог отцовского княжения. Сын принимал в руки свои достигнутое отцом и мог нести дальше, к высотам, недоступным отцу...

Великая Владимирская дорога перерезала леса между Клязьмой и Вороты, и, постепенно забирая на север, опила верховья речек



Шерны, Киржача и Пекши. Дальше начинались переяславские волости. Леса чередовались со светлыми опольями. Дорога то взбежала по пологим склонам, то опускалась в речные долины, и тогда под копытами коней выстукивали веселую барабанную дробь сосновые плахи мостов.

Редкие обозы сворачивали на обочины и останавливались, пропуская конную дружину. Переяславцы, рассмотрев московский стяг, приветственно махали шапками. И раньше не было вражды между Москвой и Переяславлем, а нынче и вовсе Москва стала заступницей. Если московские ратные люди идут к Переяславлю, то не для войны идут — для подмоги князю Ивану, который, слышно, давно уже болен...

Последний взлет дороги перед Переяславлем-Залесским.

Княжич Иван придержал коня, приподнялся на стременах.

Между немеренной, серой гладью Плещеева озера и Трубежем, отсвечивавшим сабельной сталью, в кольце зеленеющих первой весенней травой валов, — перед ним лежал в низине город. Белой каменной громадой поднимался над стенами собор Спаса-Преображения, родовая усыпальница потомков Александра Невского. Единственный купол собора был похож на островерхий русский шлем.

Старый дружинник Алексей Бобоша вытянул вперед руку, ладонью вверх, будто самолично вручая город княжичу Юрию:

— Се твой град, княже! Прими и володей людьми его и землями его!

Был светлый день Пахомия-теплого, Пахо-

мия-бокогрея, а весна была от сотворения мира шесть тысяч восемьсот десятая¹, двадцать первая весна в жизни Юрия Данииловича...

Алексей Бобоша растроганно всхлипнул, прислонился щекой головой к плечу Юрия, шепча бессвязные слова:

— Час благословенный... Как батюшку твоего Даниила Александровича в Москву вводили... Удачи тебе, княже... На свой путь становишься...

Вмешался боярин Федор Бяконт, сказал озабоченно:

— Что-то людей Антония не видно... А договорено было, что встретят...

Только сейчас Юрий обратил внимание на безлюдье вокруг города, на крепко замкнутые ворота под прорезной башней. Будто спал Переяславль-Залесский, хотя солнце стояло высоко, прямо над головой.

Возле дорожки зашевелились кусты.

Раздвигая ветки, поднялся человек в неприметном кафтанчике, распахнутом на груди, простоволосый, сутулившийся, — по виду холоп или посадский жилец не из богатых. Склонив голову на плечо, молча разглядывал Юрия и его спутников.

Неожиданный порыв ветра развернул московский стяг.

Легкими, скользящими шагами незнакомец приблизился к Юрию, поклонился, протянул руку с большим железным перстнем. На перстне была вырезана переяславская княжеская печать — всадник с копьем.

— От Антония! — облегченно вздохнул бо-

¹ 15 мая 1302 года.

ярин Бяконт и заторопил посланца: — Ну, говори, говори!

— Князь Иван Дмитриевич поутру представился, — ровным, неживым голосом, в котором не было заметно ни горя, ни озабоченности, начал посланец боярина Антония. — Наместники великого князя Андрея, вчера ко граду приспевшие, стоят на лугу за Трубежом. Ратников с наместниками мало, для дорожного обережения только. Боярин Антоний наказал передать, чтоб вы не сомневались, ехали к городу безопасно...

Закончив краткую речь свою, посланец боярина Антония еще раз поклонился, сдернул с пальца перстень, передал Юрию и, не дожидаясь расспросов, упятился в кусты.

Покачивались, успокаиваясь, ветки у дороги, и не понять было, трогала их человеческая рука или припнул, пробегая, ветер-странник...

— С богом! — взмахнул плетью Юрий, но поехал медленно, намеренно придерживая загорячившегося коня. Суетливость не к лицу князю...

Чем ниже спускалась дорога в пригородную низину, тем выше впереди поднимались, будто вырастая из земли, валы и стены Переяславля-Залесского. Вот уже городская стена поднялась на половину неба, и москвичи задирали головы, пытаясь рассмотреть людей в черных прорезях бойниц.

Со скрипом и железным лязгом отворились городские ворота.

Из-под воротной башни вышли навстречу дети боярские, одетые не то чтобы бедно, но — без ожидаемой Юрием праздничности.

И остальное — все, что случилось дальше, — тоже показалось Юрию до обидного будничным.

Переяславцы, стоявшие кучками вдоль улицы, провожали Юрия и московских наместников молчаливыми поклонами, и не было радости на их лицах — одна тоскливая озабоченность, как будто горожане еще не решились для себя, как отнестись к приезду московского княжича, и, примирившись с неизбежным, теперь присматривались к нему. Одно дело видеть московского княжича желанным гостем, другое — своим собственным князем...

Настороженное ожидание встретило Юрия и в княжеских хоромаш, где собрались думные люди покойного Ивана Дмитриевича, переяславские бояре, воеводы, городские старосты. Юрий видел покорность, вежливую почтительность, но — не более...

Священник Иона, запинаясь и близоруко щуря глаза, прочитал духовную грамоту. Переяславцы молчаливой чередой пошли к кресту, произносили положенные слова верности новому господину и... отводили глаза перед пронзительным взглядом боярина Антония, который был, пожалуй, один из всех по-настоящему довольным и веселым...

И Юрий подумал, что нынешнее мирное введение в переяславское наследство — не исход, а лишь начало подлинной борьбы за город, за сердца и души людей его, и что немало времени пройдет, пока сольются воедино Москва и Переяславль, и что слияние это будет трудным, даже если не вмешается извне чужая враждебная сила. Надобно пре-

дупредить обо всем отца, князя Даниила Александровича...

3

Известие о присоединении Переяславля к Московскому княжеству было подобно камню, брошенному в тихий пруд, и круги широко расходились по воде, доплескиваясь до дальних берегов.

Князь Василий Дмитровский, отчина которого оказалась теперь в полуколыце московских владений, поспешно отъехал в заволжский Городец, вторую свою столицу, а горожане Дмитрова сели в крепкую осаду.

Князь Михаил Тверской прислал в Москву гневную грамоту, упрекая Даниила в нарушении древних обычаев и в лукавстве, коим он стяжает чужие земли. Тверские полки встали в пограничных городах Зубцове, Микулине, Клине, Кснятине. Михаил даже отложил на время постриги¹ старшего сына Дмитрия, являя тем самым готовность к немедленной войне с Москвой.

Но до войны дело не дошло. Один на один с Москвой сражаться опасно, а союзников у Михаила Тверского не нашлось. Кое-кто из удельных князей даже позлорадствовал на унижение Михаила, припомнив его прошлые гордые речи. Пришлось князю Михаилу потихоньку возвращать полки в Тверь и снова созывать гостей на постриги. Тут всем стало понятно, что Тверь отступила...

Ждали, что предпримет великий князь Андрей Александрович, который получил ве-

¹ Постриги — обряд совершеннолетия молодого князя.

сти о захвате Переяславля из первых рук — от наместников своих, без чести отосланных переяславцами. А больше всех ждал князь Даниил, спешно собирая под Радонежем конные и пешие рати. Здесь его нашло посольство великого князя.

Великокняжеского боярина Акинфа Семеновича и игумена владимирского Вознесенского монастыря Евлампия московская застава остановила у реки Пажи, что впадает в Ворю неподалеку от Радонежа.

Спустя немалое время к послам неторопливо выехал дворецкий Иван Романович Клуща, сопровождал до следующей заставы, велел спешиться и так, пешими, повел через огромный воинский стан. Посольские дружинники и холопы остались за цепью сторожевых ратников.

Москвичи, во множестве толпившиеся среди шатров и шалашей, поглядывали на послов великого князя хмуро и недоброжелательно. Проносились конные дружины, вздымая клубы пыли. На просторной луговине, вытоптанной сапогами до каменной крепости, выстроились в ряд угловатые пороки. Колыхались разноцветные полковые стяги.

Боярин Акинф принялся было считать стяги, незаметно загибая пальцы, но скоро сбился — стягов было слишком много. Когда только успел Даниил Московский собрать столь могучую рать?!

Когда присмиревшие послы великого князя добрались наконец до шатра Даниила Александровича, им было уже не до прозных речей. Бесчисленное московское войско незримо стояло перед глазами, и боярин Акинф

начал не с гневных упреков и угроз, как было задумано с великим князем Андреем, а с уважительных расспросов о здравии князя Даниила Александровича...

Князь Даниил и боярин Протасий многозначительно переглянулись. Пешее шествие через московский воинский стан поубавило спеси у послов Андрея!

Игумен Евлампий начал читать грамоту великого князя Андрея. Сама по себе грамота была грозной и величаво-укоризненной, но в устах оробевшего чернеца слова звучали как-то неубедительно. Уверенности не было в тех словах, и это почувствовали и москвичи, и сам посол Акинф. Сам он так и не решился добавить изустно еще более резкие слова, порученные великим князем Андреем, и сказал только, что его господин ожидает ответа немедленно. Сказал — и втянул голову в плечи, ожидая гневной отповеди московского князя на немирное послание.

Но Даниил Александрович не стал унижать великокняжеских послов: сильный может позволить себе великодушие! Он заговорил о том, что старшего брата Андрея Александровича оставили без подлинных вестей его слуги, не довели до великого князя, что он, Даниил, не своевольно вошел в Переяславль, но только по духовной грамоте князя Ивана, своего любимого племянника...

— А список с духовной грамоты тебе отдам, чтобы не было между мной и старшим братом Андреем недоумения. Передай список князю. Таиться мне нечего, перед богом и Андреем чист.

Протасий Воронец подал Акинфу перга-

ментный свиток. Боярин Акинф почтительно принял его двумя руками, попятился к выходу. Москвичи молча смотрели вслед ему, кто торжествующе, кто насмешливо, а кто и с затаенной жалостью, представив себя на его месте...

— Мыслью, что ратью великий князь на нас не пойдет! — прервал затянувшееся молчание Даниил Александрович. — Одна ему дорога осталась — в Орду, жаловаться на нас хану Тохте...

Что рассказали по возвращении во Владимир боярин Акинф и игумен Евлампий и что говорено было после между ними и великим князем — осталось тайной, но больше послы к Даниилу Московскому не ездили. Великокняжеское войско, простоявшее две недели на Раменском поле в ожидании похода, было без шума распущено по домам.

А вскоре великий князь, как и предсказывал Даниил, действительно поехал в Орду, к заступнику своему хану Тохте на поклон. Мало кто сомневался, зачем он поехал: Андрей решил искать в Орде помощи, чтобы татарскими саблями сокрушить усилившуюся Москву. На старшего брата Дмитрия наводил ордынские рати Андрей, теперь пришла очередь его младшего брата — Даниила. Никак не утомонится средний Александрович...

— Не осмелился все-таки Андрей спорить с Москвой напрямую! — сказал князь Даниил, узнав об отъезде брата.

А боярин Протасий Воронец, хитренько прищурившись, добавил:

— Самое время, пока Андрей по ханским улусам ездит, поразмыслить нам о граде Можайске...

Глава 8

*О чем думают
правители,
завершая дни свои?*

1

Та зима, от сотворения мира шесть тысяч восемьсот одиннадцатая¹, выдалась на удивление теплой и малоснежной. Реки едва прихватило льдом, а на иных реках вода шла по льду через всю зиму.

Люди даже не заметили приближения весны, потому что вся зима проходила будто бы весенними распутицами, а настоящая весна не прибавила солнца, но только — дождевую морось.

А весна эта была последней для князя Даниила Александровича Московского...

Февраля в двадцатый день, на Льва Катынского, когда люди остерегаются глядеть на звезды, чтобы не накликать беду, — князь Даниил возвратился из Переяславля, от старшего сына своего Юрия, и занемог горячкою. Не узнавал людей, метался на мятых простынях, выкрикивал бессвязные слова.

Чернецы, слетевшиеся на княжеский двор, яко вороны на бранное поле, шептались по углам, что добра не будет. Известно ведь, что день Льва Катынского для болящих страшнее, чем для грешников Страшный суд. Кто в этот день заболит, тот однозначно помрет,

¹ 1303 год.

если господь не явит чуда. Но на чудеса господь скуп, приберегает чудеса токмо для самых праведных, богоизбранных...

Княгиня Ксения, слушая такие пророчества, смирала от ужаса. Слезы она уже все выплакала, и теперь лишь подвывала тихо-хонько, билась головой об пол перед образом Покрова Богородицы, матери божьей, заступницы...

«Господи, помилуй! Господи, спаси!»

Ночью перед княжеским дворцом пылали факелы, толпились наехавшие со всей округи люди. В московских храмах служили молебны о здравии господина Даниила Александровича, чтобы не призвал его господь безвременно пред светлые очи свои, но оставил бы в миру...

Князь опаматовался только упрям. Приподнял набрякшие веки, обвел безразличным взглядом собравшихся в ложнице людей. «Боярин Протасий... Илья Кловыня... Дворецкий Клуша... Шемяка... Архимандрит Геронтий... Игумен Стефан... Еще чернецы и еще... Зачем их столько?.. Неизвестный какой-то, темный, со сладенькой улыбочкой... Лечец, что ли? Откуда позвали?..»

Хотел спросить у Протасия, но язык будто присох к гортани, не шевельнуть...

Будто издалека, донесся неясный шепот: «Очнулся князь, глаза открыл... Помогли молитвы наши... Молебен, еще молебен надобно...»

Бояре и чернецы придвинулись к постели.

К изголовью князя склонилась неясная тень, чья-то мягкая ласковая рука обтерла рушником вспотевший лоб. Пахнуло знако-

мым запахом розового масла. «Жена... Ксения...»

Даниил шевельнул губами, сиюсь улыбиться, и — замер, пережидая колющую боль в груди.

И снова — тьма...

И дальше так было: минутное осознание бытия, а потом черные провалы, которые длились непонятно сколько — часы или дни.

Свет — тьма, свет — тьма...

Потом сознание вернулось и больше не уходило, хотя сил едва хватало на то, чтобы изредка приоткрыть глаза. И боль в груди не отпускала, вонзалась, как лезвие ножа, при любом движении. Одно оставалось — думать.

И Даниил Александрович думал, а люди считали, что князь снова забылся, изнуренный горячкой, и боязливо заглядывали в ложницу, и сокрушенно качали головами: «Опять плох стал Даниил Александрович, ох как плох...»

* * *

Мысли Даниила Александровича неожиданно легко сцеплялись в единую цепь, и не было в этой цепи уязвимых звеньев: все казалось прочным и ясным.

Даниил примерял к этим мыслям подлинные дела свои, искал несоответствий и не находил их, и это было счастье, которым могли похвастаться немногие — созвучие мыслей и дел.

Даниил не лукавил перед самим собой: поздно было лукавить!

Перешагнув роковой сорокалетний рубеж,

Даниил Александрович все чаще стал задумываться о земных делах своих, но будничная неиссякаемая суета отвлекала его, и только теперь, обреченный на неподвижность, он неторопливо разматывал и разматывал клубок выношенных мыслей.

Нет, князь Даниил не боялся смерти. Недолго жили тогда князья на Руси, и никого не удивила бы кончина московского князя на сорок втором году жизни.

Отец Даниила, благоверный князь Александр Ярославич Невский, скончался в сорок три года, дядя Ярослав Ярославич, сменивший Невского на великокняжеском столе, — в сорок один год, а еще один дядя Василий Квашня, тоже великий князь, и того меньше прожил — тридцать пять лет. Старший брат Даниила — великий князь Дмитрий Александрович — отсчитал сорок четыре года земной жизни, а племянник Иван Дмитриевич — двадцать шесть лет. Не долговечнее были и другие княжеские роды. Борис Ростовский умер в сорок шесть лет, его сын Дмитрий — в сорок один год. А сколько князей умирало, не достигнув совершеннолетия? Судьба еще благосклонна к Даниилу, подарив ему большую жизнь...

Даниил подводил итоги земных деяний своих без страха перед смертью, не мучаясь сомнениями, ибо все, что было им совершенно, полностью сходилась с его собственными представлениями о мире и о месте его, князя московского, в этом мире. И эти представления казались Даниилу такими же бесспорными и естественными, как смена дня и ночи, как неудержимое шествие времен года,

как всеобъемлющая божья воля, которой все подвластно — и небесные знамения, и зверь, и птица, и человек.

Даниил верил, что власть над Москвой вручена ему богом, избравшим московского князя орудием промыслов своих, и потому все, что он делал для возвышения Москвы, бесспорно справедливо и единственно возможно.

А ведь Москва за считанные годы возвысилась необычайно, раздвинула свои рубежи от Оки-реки до Нерли-Волжской. Московские наместники полновластно хозяйничали в переяславских и коломенских волостях. Московские ветры раскачивали на смоленском древе град Можайск, и он был готов упасть как перезрелый плод в руки Даниила Александровича, и Протасий Воронец уже готовил подклеть с крепкими запорами для последнего можайского князя Святослава Глебовича, не без умысла выбрав ее рядом с тюрьмой бывшего рязанского владетеля Константина Романовича. Где-то впереди уже начинал маячить великокняжеский стол, и Даниил мысленно благословлял сыновей на великое дерзание. Сам он не успел...

Привыкнув к исключительности княжеского положения, Даниил никогда не задумывался, почему князь возвышен над остальными людьми. Просто так всегда было и так всегда будет, потому что так оно есть! Женам главы — мужи, а мужам — князь, а князю — бог, и в этой триединой формуле место Даниила было predetermined при рождении,

как и всем людям, на земле живущим. Отец Даниила был князем, и дед тоже, и прадед и прапрапрадеды, и сыновья Даниила тоже будут князьями, и внуки.

Удел князя — властвовать, удел прочих — повиноваться.

Но и жизнь самого князя не свободна. Вся она расписана заповедями, жесткими и непреодолимыми, как крепостные стены. Многомудрый князь Владимир Мономах собрал княжеские заповеди в поучении¹ детям своим и иным людям, и Даниил с детства принял эти заповеди в сердце свое. Ибо верно сказано, что исполняющий заповеди дедов и прадедов своих никем не осужден будет, но восхищения достоин!

«Молчи при старших, слушай премудрых...»

«Имей любовь со сверстными² своими и меньшими...»

«Держи очи долу, а душу горе...»

«Научись языка воздержанью, ума смирению...»

«Понуждайся через нехотенье на добрые дела...»

«Вставай до солнца, как мужи добрые делают, а узревши солнце, пищу прими земную, постную или скоромную, какой день выпадет...»

«До обеда думай с дружиною о делах,

¹ В составе Лаврентьевской летописи сохранилось «Поученье» князя Владимира Мономаха (1053—1125), в котором он изложил, в частности, свои представления о княжеской власти, свои требования к «идеальному» князю.

² С в е р с т н ы е — ровесники.

верши суд людям, на ловы¹ выезжай, тиунов и ключников расспрашивай, а после полудня почивай, после полудня трудиться грех...»

«Не ленись, ибо леность всем порокам мать; ленивый что умел, то забудет, а что не умел — вовсе не научится...»

«На дворе все верши сам, не полагайся на тиуна да на отроков, понеже бывает — неревностны они и своекорыстны...»

«На войне полками сам правь; еденью, питью и спанью не мироволь, блюстись надобно ратным людям от пьянства и блуда...»

Одни заповеди Даниил, севши на самостоятельное княжение, продолжал исполнять, а другие отставил, потому что, к примеру, зачем князю молчать при старших и держать очи долу, если он старше всех старейшин в Москве? Но главным заповедям Даниил не изменял никогда и потому считал себя в жизни правым.

Память услужливо подсказывала воспоминания о прошлых благодеяниях, которых Даниил никогда не чуждался, о славословии отмеченных его милостью людей, о богатых вкладах в монастыри и храмы, о ликующем колокольном звоне, который встречал его, московского князя, после победоносных походов, предпринятых не ради честолюбия, но для пользы земли, вручившей ему власть над собою. Все это было, было, и на душе становилось светлее, когда Даниил вспоминал об этом...

¹ Л о в ы — охота.

Но потом вдруг темная полоса перечеркивала радостные видения, и перед глазами Даниила оживало другое, тоже составляющее неотъемлемую часть княжеского бытия.

Издранные батогами, кровоточившие спины холопов...

Поскрипывание ветвей столетнего дуба на перекрестке дорог, где раскачивались на ледяном декабрьском ветру тела повешенных татей...

Глухие стоны из земляной тюрьмы-поруба, последнего прибежища изолгавшихся сельских тиунов...

Взмах секиры и упавшая в пыль голова волочанского вотчинника Голтея Оладьина, сына Шишмарева, которого люди боярина Протасия уличили в злоумышлении на князя...

После казни Голтея Оладьина молодой Даниил пришел за утешением к архимандриту Геронтию и получил искомое утешение. Геронтий произнес успокоительные слова, которые надолго запомнились Даниилу: «Не смущайся душою, княже, ибо смерть настигает лишь того, кому предопределена свыше. Суд твой изменнику Голтею от бога пришел, но не от тебя!»

Даниил поверил архимандриту и продолжал верить теперь, потому что слова эти удобно укладывались среди собственных размышлений московского князя, мнившего себя божьей десницей на земле...

И все-таки размышления о добре и зле порой повергали Даниила в смутную тревогу. Он понимал, что без зла, без княжеской очистительной грозы не жить княжеству. Зло во пользу — уже не зло, а благо. Но кто мо-

жет знать меру полезного зла? Какой мудрый подскажет, что до сего рубежа зло есть благо, а далее — во вред? Что богоугодно, а что греховно? Человек во грехе зачат, грехом живет и помирает грешным, если не избытывает вольных и невольных грехов своих тремя святыми деяниями: слезами, покаянием и молитвой. Так учили отцы церкви. И Даниил в часы сомнений завершал дневные заботы заветной молитвой: «Господи, помилуй мя, якоже блудницу и мытаря помиловал еси, тако и нас грешных помилуй!»

Молился и засыпал, просветленный. Труднее было освободиться от княжеских забот, которые давили даже сейчас, на смертном одре. Много было сделано Даниилом, но оставались еще и незавершенные дела. А Даниилу хотелось самому закончить все, что было начато при нем, не передоверяя сыновьям.

2

В часы просветления князь Даниил Александрович звал думных людей, слушал тиунов и сельских старост, расспрашивал воевод, распоряжался.

Оживал тогда княжеский двор, приличная скорбь на лицах думных людей сменялась озабоченностью, а сам Даниил, окунувшись в привычные хлопоты, будто возвращался к жизни, и боль в груди отпускала его.

И скакали княжеские гонцы: в Рузу — торопить тысяцкого Петра Босоволкова со строительством нового града; в Переяславль-Залесский — напомнить сыну Юрию и боярину Федору Бяконту, чтобы соль с переяславских варниц они придержали бы до летней рыбной



поры, а не растрясали проезжим купцам; в Нижний Новгород — визнавать доподлинно про ордынское сидение великого князя Андрея, ибо туда вести из Орды приходили раньше, чем в другие города...

В один из таких просветленных часов князь Даниил велел привести в ложницу плененного рязанского князя Константина Романовича. Константин второй год томился в тесном заключении, но не соглашался скрепить крестоцелованием договорную грамоту. А без грамоты рязанское дело оставалось незавершенным.

Константин смиренно стоял перед княжеской постелью. Мятая полотняная рубаха плотно облепила его располневшее тело. Лицо Константина было рыхлым, одутловатым, бледным до синевы — неволя будто смыла с него все живые краски. «А ведь не в порубе сидит, — подумал Даниил, — а в теплой подклети, на щедрых кормах...»

Молчание затянулось.

Даниил разглядывал пленника, стараясь угадать, чего можно ждать от последнего разговора с рязанским князем. У Даниила не оставалось больше сил на уговоры и угрозы, на призывы к рассудку упрямого рязанского князя. Даниил хотел одного: понять, может ли он закончить наконец затянувшуюся тяжбу с Константином? Но как понять, если Константин даже не поднимает глаза?

— Во здравии ли, князь? — тихо спросил Даниил.

Константин переступил с ноги на ногу, ответил смиренно:

— Во здравии... Божьей милостью...

Ответ Константина был покорным и уважительным, но в глазах его вдруг сверкнуло злобное торжество, скрытое до поры показным смирением: видно, тяжелая болезнь Даниила вселила в Константина надежду на избавление из плена, на сладостную месть.

Нет, не покорился Константин Романович!

Даниил понял это и заговорил, — не для того, чтобы еще раз попытаться вырвать у рязанского князя согласие, бесполезно это было, — но с единственным желанием погасить торжествующий огонек в его глазах:

— Не надумал еще с Москвой замиряться? Ну, подумай еще, подумай!.. А немощи моей напрасно радуешься. Сыновья мое дело продолжат, их-то ты не переживешь! — насмешливо сказал Даниил и, помолчав, добавил, как бы в раздумье: — А может, и меня ты не переживешь...

В глазах Константина плеснулся испуг, губы задрожали.

— Уведите! — крикнул Даниил караульным ратникам.

Ратники вцепились в локти Константина, и уже не бережно, а грубо, почти волоком, потащили его к двери. По разговору и обхождение: милость Даниила Александровича к пленнику не вернулась, горе ему...

Даниил вдруг представил, да так явственно, будто увидел: втискивается в подклеть к Константину глыбоподобный Шемяка Горюн, цепляясь плечами сразу за оба дверных косяка; трепещет упрямый рязанский князь, узрев протянутые к его горлу волосатые пальцы... Представил — и разочарованно вздохнул. Это было невозможно. Это не укладыва-

лось в очерченный княжескими заповедями круг допустимого.

Прямое убийство князя-соперника безусловно осуждалось на Руси со времени Святополка Окаянного¹. Пленного князя можно было лишить света, исторгнув вон очи его. Можно отсечь правую руку, чтобы ничем было держать меч. Можно заморить голодом, всадив в глухой погреб. Все можно было отнять у плененного князя, кроме самой жизни.

Пусть поживет пока что князь Константин Рязанский...

3

И снова текли думы Даниила, неторопливо и просторно, как высокая вешняя вода, не умещавшаяся в проложенном русле и выплескивавшаяся на берега, которые она никогда не захлестывала раньше.

Сладко было вспомнить о достигнутом, но и упущенное тоже было, и восполнить уже ничего нельзя — поздно! И как-то так выходило, что достигнутое оказывалось в кругу высших державных дел, а упущенное — среди теплых человеческих радостей, которые все-таки нужны властелинам так же, как простым людям.

Многим был одарен в жизни князь Даниил, но и обделен, оказывается, тоже немалым.

Обделен был любовью, так счастливо начавшейся с обета быть телом и душой еди-

¹ Великий киевский князь Святополк вероломно убил в 1015 году своих братьев Бориса и Глеба, за что получил прозвище «Окаянный». Борис и Глеб были объявлены церковью святыми.

ной, который произнесли они с княгиней Ксенией. Мила ему осталась Ксения и по сей день, что если сложить все часы, проведенные с ней вместе, то совсем немного их набегало, счастливых часов. Ласки Ксении были лишь короткими привалами на бесконечном княжеском пути, и часто случалось, что телом Даниила был с женой, а думами своими — где-то немыслимо далеко, в стольном Владимире или в коварной Твери, в дмитровских лесах или на просторах Дикого Поля, куда уводили его нескончаемые княжеские заботы, сокращая и без того краткие часы свиданий. И тогда уже не слышал Даниил ласковых слов, и Ксения виновато отстранялась, встретив его отрешенный взгляд.

Обделен был Даниил душевной близостью с сыновьями. Он вдруг понял, что упустил младших сыновей, кровь от крови и плоть от плоти своей, боль свою и надежду. Казалось, он делал все, что положено было делать заботливому отцу, с детства готовил сыновей к судьбе правителей и ратоборцев. Но делал это не своими руками, а руками других людей, появлялся перед сыновьями лишь изредка. И успевал только замечать перемены, которые произошли с сыновьями между редкими встречами, и удивлялся, насколько несхожими они становились и как с годами увеличивалось это несходство.

Старший сын Юрий, самый любимый, старался во всем походить на отца. И внешне он был похож на молодого Даниила: такой же рослый, светловолосый, с выпуклой грудью и холодными серыми глазами. На бояр и дворовую челядь покрикивал по-отцовски, над-

менно и непререкаемо, и его уже побаивались на Москве.

Даниил радовался, узнавая в княжиче Юрии самого себя, и улучал минуты, чтобы передать старшему сыну крупницы выстраданной княжеской мудрости. Не часто это удавалось, но в Юрии он был уверен, спокоен за него, а вот остальные...

Только последнее время он начал внимательней присматриваться к средним сыновьям — Александру и Борису, и с прустью убеждался, что не понимает их, как они не понимают его, Даниила.

Точно бы все было у Александра и Бориса, что отличает подлинных княжичей: к отцу-князю почтительны, перед людьми властны, разумеют книжную премудрость, с детства приучены к ратным потехам. Но чего-то не хватало княжичам. Не видно было в них душевной твердости, как будто монахи-книжники Боявленского монастыря, в котором Александр и Борис провели детские годы, размягчили души их, яко воск, низвели с княжеской высоты до будничной серости боярских детей, привыкших не заглядывать дальше своей вотчинной межи и покорно следовать за чужим конем.

Напрасными были запоздалые беседы Даниила со средними сыновьями. Не приоткрывали душу Александр и Борис, почтительно соглашались со всем, что говорил отец, но отвечали не по собственному разумению, а лишь угадывая, что он хотел бы услышать от них. Ни разу глаза Александра и Бориса не загорались достойной обидой, хотя Даниил порой намеренно говорил им оскорбительные

слова. Смиренны и уважительны сыновья, но — не более того. С чем выйдут они в самостоятельное плавание?¹

Младший сын Иван... С ним — еще сложнее...

Иван вышел обличем не в отца, а в мать Ксению: невысокий, плотный, лицо круглое, улыбчивое. А вот глаза у Ивана были совсем не такие, как у княгини Ксении. Не добрые, а колющие, прищуренные, подозрительные были у княжича Ивана глаза.

Княжич Иван сызмалетства был признанным любимцем боярина Протасия Воронца, его выучеником. Чего особенного усмотрел боярин в младенце, если приблизил его к себе чуть не с пеленок? Этого Даниил не знал, но что-то, несомненно, было, было!

Поначалу Даниил Александрович благосклонно отнесся к заботам боярина о младшем сыне. Самому было недосуг, а у Протасия Воронца было чему поучиться: великого ума и хитрости человек. Но потом Даниил стал замечать в младшем сыне неладное. Появилось у Ивана немыслимое, прямо-таки жертвенное упрямство. В спорах со старшими братьями он никогда не уступал, хотя поколачивали его братья частенько: слабее он был и Александра, и Бориса, не говоря уже о старшем, Юрии. Но потом сами братья стали бояться Ивана, потому что он зло мстил обидчикам, и месть его казалась неотвратимой, разве что по времени откладывалась.

¹ Князя Александр и Борис в 1306 году бежали в Тверь, изменив Юрию Московскому. Александр умер в Твери в 1308, Борис — в Новгороде в 1322 году, где был иноком в монастыре.

День проходил после ссоры, а то и больше, братья забывали о ней, а Иван помнил. Подкрадывался из-за угла, неожиданно бил палкой или еще чем-нибудь — больно, хлестко. Молча терпел ответные побои и снова, выбрав время, бил и бил, пока обидчик не взмолился о пощаде. Лучше не связываться было с княжичем Иваном...

И еще заметил Даниил Александрович: думал Иван о людях всегда плохо, ожидал от них всяческих подвохов. Откуда такое пришло, гадать не приходилось. Даниил подслушал невзначай наставления боярина Протасия, которым Иван внимал с полным доверием.

«Зол человек даже противу беса, и бес того не замыслит, что злой человек замыслит и содеет, а потому людям не верь. Устами часто медоточивы они, но сердцем черны», — вдалбливал боярин Протасий.

А Иван поддакивал ему, сам вспоминал дурные людские поступки, о которых слышал от старших или сам где-то подсмотрел, и Даниил Александрович удивился, что Иван отнюдь не осуждает зла, но даже восхищается им, когда зло оказывается удачливым...

И еще одно наставление боярина Протасия услышал Даниил:

«Запомни, Иване! Сила человека в богатстве, не в чем ином. Потому что так заведено: беден человек, и честь ему бедная!»

Крепко, видно, западали слова Протасия Воронца в душу княжича. Иван завел себе кожаную сумку-калиту и не расставался с ней, складывал поначалу в калиту свои ребячьи безделушки, а потом серебро, выпрошенное у матери и у боярина Протасия — боя-

рин не скупился, своих детей-наследников у него не было. И вещицы разные, оставленные без присмотра, тоже оказывались в калите, а выпребовать их у Ивана обратно никому не удавалось. «Калита ты, а не человек!» — бросил однажды в сердцах Юрий. Прозвище это, разнесенное по Москве глумливым шепотком комнатных холопов, прочно прилепилось к младшему Даниловичу: «Иван Калита»!

Князь Даниил Александрович пробовал укорять Протасия, что не во всем ладно составляет он княжича, но боярин только хитренько прищуривал глазки:

«Кюли Ивану от бога присуждено быть князем, то должен Иван о своем княжестве как о калите радеть. Не оттягают у него супротивники ни волости, ни села, ни деревни малой, но сам Иван волостей и сел примыслит немало. То во благо будет Московскому княжеству, не во вред...»

И Даниил Александрович, давно измерявший людские достоинства и недостатки одним мерилom — пользой для своего княжества, вынужден был соглашаться с Протасием Воронцом. Разумом понимал правоту боярина, но все-таки любил Ивана меньше, чем остальных сыновей...

А еще обделен был князь Даниил Александрович Московский простой человеческой жалостью, и не только своей жалостью и состраданием к другим людям, которые просят души, но и жалостью людей к самому себе.

Даниилом Александровичем восхищались,

перед ним трепетали, его прославляли или ненавидели, но никто никогда не пожалел его, как будто князь был недоступен обыкновенным человеческим слабостям и не нуждался в душевном участии!

А может, все-таки жалели, но скрывали свою жалость, считая ее недостойной и оскорбительной для князя?

О, одиночество правителей!

Кто знает тяжесть этого одиночества, кроме них самих?

Почему сейчас, когда близок конец земного пути князя Даниила Александровича Московского, перед ним все чаще и чаще проплывают неясными тенями воспоминания не о шумных княжеских пирах, не о величественной поступи закованных в железо полков, не о ликующем колокольном звоне и приветственных криках множества коленопреклоненных людей, а о чем-то маленьком, теплом, ласковом, мимо чего он когда-то прошел, даже не остановившись?

Вот опять, опять как наяву, это видение!

...Лесная деревенька на речке Пахорке. Князь Даниил в избе смерда-зверолова пережидает непогоду. Сам зверолов, укутанный звериными шкурами, лежит в беспамятстве на лавке: медведь его задрал в лесу. А жонка зверолова бережно поглаживает ладонью его спутанные волосы, шепчет щемяще-жалостные слова:

«Родненький мой, болезненький... Горюшко ты мое... Кровиночка моя... Как же ты зверя-то допустил до себя, не уберегся?.. Выхожу я тебя, родименький мой, слезами раны твои обмою...»

Даниил, замерев, слушает ласковые слова, а глаза почему-то увлажняются слезами, и он отворачивается, скрывая эти слезы от людей, и сам не понимает, что с ним творится. Не помнит Даниил святой материнской ласки, но где-то в подсознании еще сохранилась тяга к ней, так некстати всплывшая...

В избу вламывается воевода Илья Кловыня — промогласный, возбужденный:

«Княже! Тверские дружины Клязьму перебрели!»

Женщина испуганно прижимается к раненому мужу, будто желая телом своим защитить его от властных шумных людей, вдруг наполнивших избу громкими выкриками, топотом, лязгом оружия, беспорядочным движением.

Даниил стряхивает очарование, навеянное светлым женским состраданием, насквозь пропитавшим мягкий полумрак семейного очага. Страхивает и, как ему кажется, навсегда вычеркивает из памяти...

А вот теперь вспомнил... Вспомнил и позавидовал... И кому позавидовал?.. Неужели тому безродному смерду, что скорчился под воющими шкурами?!

Думы, думы...

Обрывки жизни, проплывающие перед глазами...

Оказывается, думы могут быть тяжелее, чем неотступная боль в груди, чем бессилие тела, из которого уходит жизнь...

Так с чем же он, Даниил Александрович Московский, уходит из этой жизни? Может,

на каком-нибудь неведомом повороте он свернул не на ту дорогу?

Нет! Нет!

Даниил Александрович твердо знал, что если бы было возможно повторить жизненный путь, он выбрал бы уже пройденный им. Иного пути быть не могло. Для иного пути нужно было родиться не тем, кто он есть, — не московским князем. А этого Даниил даже не мог представить. Это было бы противоестественно: он и Москва отдельно друг от друга.

Весь смысл жизни Даниила Александровича: и жертвенность, и счастье, и оправдание всему, и предсмертная горькая удовлетворенность сходились в одном — в Московском княжестве. И если на своем пути он проскакивал мимо уютных лесных лужаек и манивших прохладой речных плесов, если топтал на скаку цветы и перебивал веселое пение птиц судорожно-тревожным перестуком копыт, если глотал горькую дорожную пыль вместо медового дурмана весенних лугов, — то во всем этом не вина его, а predetermined свыше жертва, не осуждения достойная, но — сострадания...

Но найдет ли он хоть в ком-нибудь полное понимание?

Не осудите его строго, люди!..

* * *

Свистом крыльев и суматошными птичьими полосами ворвался в Москву Гарасим-грачевник. Ликование весны, ликование природы, ликование жизни...

В полной ясности ума князь Даниил Александрович принял постриг в святой иноческий чин и схиму, искупив этим печальным обрядом грехи свои вольные и невольные, отрешившись от земных забот.

Люди, собравшиеся возле постели умиравшего повелителя, ждали от него последнее слово, в коем книжники будут искать сокровенный смысл прошедшего княжения.

Но не о божьей благодати, не о смирении перед грядущим Страшным судом и даже не о будущих княжеских заботах сказал последнее слово Даниил:

— Грачи... Грачи прилетели... На гнезда садятся... Дружная весна... Для земли хорошо... С хлебом будем... С хлебом...

Клился к закату четвертый день марта, а год был от сотворения мира шесть тысяч восемьсот одиннадцатый¹. Последний день и последний год жизни князя Даниила Александровича Московского. Последний в жизни, но не делах его: пружина княжеских дел продолжала раскручиваться...

¹ 1303 год.

Глава 9

Неудержимый бег времени

1

Со смертью князя не умирает княжество.

В Москву торжественно въехал новый вла-
дыка, князь Юрий, старший Даниилович, и
принял власть над городом и людьми его.
Юрий опоздал на похороны отца: переяслав-
цы долго не отпускали его, опасаясь гибель-
ного безвластия. Видно, нашел все-таки мо-
лодой князь дорогу к сердцам переяславцев,
признали они Юрия за своего!

Юрий Даниилович унаследовал не только
княжество отца, но и дела его. Вскоре москов-
ская рать из новой крепости Рузы пошла к
Можайску. Немногочисленная дружина мо-
жайского владетеля Святослава Глебовича
нерасчетливо покинула крепость и была раз-
громлена на пригородных лугах; сам Свято-
слав попал в плен к москвичам. А жители
Можайска без боя открыли городские ворота.

Отныне и присно и во веки веков засвер-
кал Можайск драгоценным камнем в оже-
релье московских пограничных городов, пер-
вым принимал удары, направленные запад-
ными соседями в сердце Руси — город Моск-
ву. Не к бесчестию привели Можайск сторон-
ники Москвы, а к звонкой воинской славе,
которую пронесет этот пограничный русский
город сквозь столетия...

Можайским победоносным походом завер-

шил Юрий круг земных дел князя Даниила Александровича. Теперь Юрию предстояло самому задумывать, самому начинать и самому завершать новые славные дела. Только враги оставались у Москвы прежние: великий князь Андрей да тверской князь Михаил.

Великий князь Андрей Александрович, дядя Юрия, возвратился из Орды с ханским ярлыком на Переяславское княжество и с ордынским послом. Верные люди сообщали из Владимира, что великий князь не скрывает радости и готовит войско. Видно, смерть Даниила Александровича снова пробудила у Андрея честолюбие надежды, и он уже мнил себя владетелем отчины Александровичей — града Переяславля. Да и не только ему казалось, что колесо удачи, взметнувшееся наверх Москву, начинает поворачиваться вспять...

Снова гонцы Андрея известили удельных князей о предстоящем княжеском съезде, на котором пред лицом ордынского посла будут читать ханские ярлыки.

Княжеский съезд собрался осенью в спорном Переяславле. Велико было нетерпение великого князя Андрея: он надеялся без промедления принять власть над городом!

Но торопливость редко ведет к успеху. Осторожные переяславцы не впустили дружины Андрея и иных князей за городские стены, а войско Юрия Московского уже стояло в Переяславле. Великому князю Андрею опять пришлось надеяться на ханский ярлык да на благорасположение ордынского посла.

* * *

Митрополит Максим прочитал князьям ханские грамоты, и были в тех грамотах

прежние, никого уж не убеждавшие слова о повиновении великому князю Андрею, о предосудительности споров из-за княжений, об ордынских даях, которые надлежало посылать хану Тохте без промедления. Князья мирно соглашались с прочитанным, даже сговорились, кроме дани, послать хану еще и подарки, кто сколько может.

Только из-за Переяславского княжества начался спор, но спорили между собой лишь двое — Андрей и Юрий. Даже князь Михаил Тверской остался от их спора в стороне, потому что не увидел для себя пользы при любом исходе. Андрей ли приберет Переяславль, Юрий ли навечно удержит его за собой, — для Твери то и другое одинаково в убыток. Пусть уж лучше Переяславль останется спорным до поры, когда у самой Твери до него руки дотянутся. А пока благоразумнее промолчать, как молчат другие удельные князья...

Покачивались весы, решавшие судьбу Переяславского княжества.

На одной чаше весов — ханский ярлык великого князя Андрея, на другой — последняя воля Ивана Переяславского, благорасположение переяславцев к князю Юрию и сильные московские полки, стоявшие в городе и за городом.

Ничем не помог великому князю Андрею ордынский посол. Равнодушие посла лучше любых слов говорило, что хану Тохте надоело посылать на Русь конные рати. Сколько раз он посылал войско в подмогу Андрею, а что толку? Как был Андрей немогущим перед другими русскими князьями, так и остался. Пора задуматься, стоит ли дальше поддержи-

вать Андрееву слабость ханской рукой? И от малого камня, если долго держать его на весу, самая могучая рука занемет. А Андрей подобен камню в ханской руке...

Ордынскому послу велено было присмотреться, не лучше ли отдать ханскую милость другому князю — ненадоедливому. И посол присматривался, ни словом, ни взглядом не ободряя великого князя Андрея.

Князь Андрей метался, искательно заглядывал в глаза посла. Срывался на крик, беспокойно теребил дрожащими пальцами перевязь меча. И была вокруг него как бы пустота — ни друзей, ни союзников, ни одушевляющего княжеского сочувствия...

А московский князь Юрий Данилович держался твердо, и была за ним незримая поддержка четырех сильных городов: Москвы, Коломны, Переяславля, Можайска. Чуть не вдвое больше, чем за великим князем, оказалось за Юрием Московским волостей и сел, а о людях и говорить не приходилось. Пустынными казались владимирские волости по сравнению с московскими!

Разумный всегда поддержит сильного, а здесь сильнее был Юрий Московский. И все же ордынский посол колебался. Неожиданное возвышение Москвы казалось ему опасным. С великим князем Андреем было просто: послушен, потому что не может обойтись без ханской милости. А как поведет себя молодой московский князь?..

Великий князь Андрей не понимал, что склонить посла на свою сторону он может только решительностью, непреклонностью, доказательствами своей необременительности и

полезности для Орды. Не понимал и заискивал перед послом и, не встречая одобрения своим словам, падал духом. Ему казалось, что нужно испросить у хана Тохты другого посла, который встал бы на его сторону крепко.

И великий князь Андрей сделал то, чего никак не следовало делать: он предложил еще раз перенести спор из-за Переяславского княжества в Орду.

Ордынский посол презрительно скривился, когда толмач перевел жалкие слова великого князя Андрея. Не завалил ли Андрей мутной грязью собственной слабости единственный источник, питавший его великокняжескую власть; — благорасположение хана Тохты?

Время показало, что это было именно так...

* * *

Князья разъехались по своим уделам, и всю зиму на Руси была тишина. И весна тоже была мирная, безрátная. Только в Новгороде невесть отчего поднялся мятеж, отняли вечники посадничество у боярина Семена Климовича, но, погорланив вволю, выбрали посадником его же брата Андрея. И утишились новгородцы, обратились к богоугодным делам. За один год срубили в городе четыре небольшие деревянные храма: церковь Георгия на Торгу, церковь Георгия же на Борковской улице, церковь Ивана да церковь Кузьмы и Демьяна на Холопьей улице.

Великий князь Андрей Александрович так и не собрался в Орду. Сначала ожидал легкой судовой дороги, а к лету занемог.

Служи о болезни великого князя поползли по Руси, обрастая домыслами досужих людей. Передавали, что Андрей будто бы исходит черной водою, будто отсохла у него правая рука, коей христиане честный крест кладут, потому что наказывает господь клятвопреступника, ордынского наводчика. Говорили даже, что лики человеческие великому князю Андрею оборачиваются звериными образами, а потому боится он людей и тем страхом безмерным изнемогает...

Но доподлинно о болезни великого князя мало кто знал, потому что Андрей отъехал из стольного Владимира в свой родной Городец на Волге, и свободного доступа туда постоянным людям не было.

В Городце приняли смерть многие славные князья, и место это считалось в народе недобрым. Александр Ярославич Невский тоже там преставился по дороге из Орды...

Так и говорили некоторые: «Андрей в Городец помирать поехал, чтоб хоть этим с прославленным отцом своим сравняться!» Слова сии оказались вещими...

В лето от сотворения мира шесть тысяч восемьсот двенадцатое¹, месяца июля в двадцать седьмой день, умер в Городце великий князь Андрей, последний Александрович, будто в насмешку людям приурочив свою кончину к почитаемому в народе дню Пантелеймона-целителя.

Умер князь, два десятка лет безжалостно ввергавший Русь в кровавые усобицы, отда-

¹ 1304 год.

вавший ее на поток и разоренье ордынским ратям.

Смерть великого князя Андрея подтолкнула Русь на новую усобицу...

2

Время убыстрило свой бег, понеслось вскачь, разбивая головы неосторожным, закружилось пестрой чередой событий, сливавшихся в такую непрерывную полосу, что невозможным оказывалось проследить их начала и их концы и определить виновных и невиновых.

В Тверь приехали из Городца великокняжеские бояре Акинф Семенович с сыновьями Иваном и Федором, зять его Давид и иные многие любимцы и радители покойного Андрея. Боярин Акинф объявил всенародно, что Андрей перед смертью будто бы благословил тверского князя Михаила великим княжением. Дело оставалось за малым — за ярлыком хана Тохты. Михаил Тверской засобирался в Орду: Княжеские тиуны готовили серебро для подарков, рассылали грамоты в боярские вотчины и монастыри. Михаил поручился возместить боярам и игуменам все издержки, даже если для этого придется опустошить до дна великокняжескую казну...

Не теряли времени и в Москве. Князь Юрий Даниилович объявил ростовскому епископу Тарасию, который проезжал через московские волости по своим церковным делам, что ныне он, Юрий, остался старшим среди князей русских, потому что род свой ведет от Александра Ярославича Невского напрямую.

а князь Михаил Тверской продолжает младшую ветвь, от Ярослава Ярославича начало имеющую...

Епископ Тарасий правильно оценил эти слова: Юрий Московский намекал на великое княжение. Вместо Ростова епископ поспешил во Владимир, к митрополиту Максиму, а Максим тотчас послал гонца в Тверь, к Михаилу. «Юрий домогается великого княжения! Опреди неразумного!»

Князь Михаил Тверской, оставив на время заботы о серебряном обозе, спешно собирал конные и пешие полки, ставил крепкие сторожевые заставы на московском рубеже. Дело шло к войне.

Князь Юрий Московский с братом своим Борисом отправился во Владимир, чтобы заручиться благословением митрополита Максима на поездку в Орду. Но митрополит своего благословения не дал, держа руку тверского князя. Он поручился, что Михаил Тверской отдаст из своего княжества все, что Юрий пожелает, если московский князь откажется от безрассудной мысли искать великокняжеский ярлык. «А еще больше, отринув гордыню, князь Юрий от бога милостей примет!» — закончил митрополит Максим свои поучения.

Юрий Даниилович, припомнив советы хитроумного боярина Протасия, со смирением отвечивал, что поедет в Орду не за ярлыком, но только по своим собственным делам...

Митрополит настоятельно советовал в Орду не ездить, а если надобно что в Орде, то просить все это сделать тверского князя Михаила, который испросит для Москвы щедрой милости хана Тохты...

Пока шли эти пустые разговоры, новый митрополичий гонец скакал в Тверь, чтобы предупредить князя Михаила. Большая конная рать, к которой присоединился верный боярину Акинфу городецкий полк, ворвалась во владимирские земли, чтобы перехватить москвичей. Боярин Акинф спешил выполнить злобещий наказ князя Михаила: живым или мертвым привезти Юрия...

Но князь Юрий Даниилович уже покинул негостеприимный Владимир. Он ушел в Орду непроторенной дорогой, вдоль малых рек Сугоды и Колпи, через мещерские леса.

Заметались тверские воеводы, пытались вызнать, куда направил своего коня московский князь, но так ничего и не дознались. Князь Юрий исчез, как иголка в стоге сена.

Обнадеживавшее известие боярин Акинф получил с суздальской заставы, которая стояла на речке Уводи: какая-то конная дружина пробежала мимо заставы к Костроме. Так вот оно что, князь Юрий пошел в обход, к Волге!

Тверское войско поспешило к Костроме. На речке Солонице, верстах в сорока от Костромы, боярина Акинфа встретили посланные люди с прямыми вестями: «Князь Юрий на Костроме!»

Но костромские доброхоты князя Михаила Тверского ошиблись. В город вошел с малой дружиной не Юрий Московский, а его младший брат — княжич Борис. Московский князь жертвовал им, чтобы навести тверичей на ложный след.

Дружинников с княжичем Борисом была малая горстка, сотни полторы. Когда тверское

войско ворвалось в Кострому через ворота, открытые старыми приятелями боярина Акинфа, княжич Борис приказал сложить оружие. Сражаться было бесполезно, на каждого московского дружинника приходилось по сотне тверичей...

Тверские ратники переворошили все дворы в городе, так и не поверив, что князь Юрий Даниилович давно уже отъехал в другую сторону. Искали и в пригородных селах, и в лесных деревнях, и на волжских островах, не осмеливаясь известить князя Михаила о новой неудаче...

А князь Юрий Даниилович, пока его тщились схватить в Костроме, был уже недостижим для погони. Под копытами его коня шелестела колючая степная трава Дикого Поля, и ордынский сотник, одаренный сверх всякой меры серебряными гривнами, сам провожал его по кратчайшей дороге к столице Орды — городу Сараю... Князю Михаилу не оставалось ничего другого, как самому поспешить за соперником в Орду. Началось состязание, в котором стремительность бега московских коней спорила с легкостью скольжения прославленных тверских ладей.

Отъехали в Орду князья-соперники, но усобица на Руси продолжалась, охватывая все новые и новые города и земли. Боярин Акинф Семенович, облеченный высоким доверием князя Михаила, прибирал к рукам бывшие великокняжеские владения.

Тверские воеводы с немалым войском пошли в новгородские земли. Склонить Великий Новгород под князя Михаила было бы великой удачей!

Однако новгородское ополчение встретило тверичей возле Торжка. Начались переговоры. Боярин Акинф надеялся взять власть над Новгородом без битвы, именем великокняжеским, но новгородские бояре, ревнители вольностей новгородских и древних обычаев, воспротивились. Они говорили, что власть над Господином Великим Новгородом князья приобретают вместе с великокняжеским ярлыком, а спор между Михаилом и Юрием только начинается, и непонятно еще, кто из них пересилит.

— Потерпите немного, пока князья не возвратятся из Орды, — уговаривали новгородцы. — Тогда мы выберем князя по великокняжескому ярлыку, по нашему обычаю истаринному!

Новгородские бояре отнекивались, а многолюдное и нарядное новгородское войско угрожающе шевелило копьями, и крылья его медленно сближались, обтекая, как полая вода пригорок, тверскую рать.

Боярин Акинф и тверские воеводы сочли за благо отступить.

«Если не на новгородском рубеже, то в ином месте возьмем свое! — неистовствовал боярин Акинф. — На Переяславль, на Переяславль!»

Но и там честолюбивого боярина подстерегала неудача. Князь Иван Даниилович, новый владетель Переяславля, успел собрать войско и сесть в осаду.

Боярин Акинф Семенович с сыновьями Иваном и Федором бесстрашно подъезжал к городским стенам, увещевал переяславцев не проливать крови за князя Юрия, яко тать в

ночи бежавшего в Орду, города свои на гибель оставившего...

С воротной башни отвечивал старый священник Иона:

— Переяславцы крест целовали князю Юрию, а к супротивнику его не переметнутся, живот положат за правду свою и московскую. А прочь не пойдете — быть бою...

Простые же люди переяславские кричали со стены срамные слова, которые и повторить-то христианину стыдно, и грозили боярину Акинфу копьями.

Князь Иван Данилович, владетель и наместник переяславский, даже на стену не поднялся, являя свое презрение к дерзким крикам боярина Акинфа. Что толку браниться? Пусть с чернью боярин лается, если пнес свой сдержать не может! Если б знал боярин Акинф, что ждет его через день-два, помирнее бы говорил!

Но боярину Акинфу не дано было знать то, что знал князь Иван. На помощь Переяславлю воевода Илья Кловыня вел из Москвы большое войско. И о том, как будут переяславцы и москвичи вести битву, было заранее договорено. Соберутся московские рати тайно в пригородных лесах и оврагах перед вечером, а ночью верный человек на ладье выплывет в Плещеево озеро, зажжет два факела. А с городской башни, что к озеру выходит, ответят ему тремя факелами — два рядом, а один поодаль. И значить это будет, что и переяславцы в городе, и москвичи под городом готовы к битве, и с первыми лучами солнца ударят воинству боярина Акинфа в чело и

в спину — одновременно! Так пусть ярится боярин, конца своего не предвидя...

...Ночь выдалась холодной и ветреной. Со-
сновые леса на возвышенностях, окружавших
переяславскую низину, раскачивались и гуде-
ли, и в этом гуде не слышно было осторожных
шагов московских ратников. Неслышными бы-
стрыми тенями скользили конные дружинни-
ки, скапливаясь в оврагах. Воевода Илья
Кловыня за считанные дни успел собрать
большое войско, смело обнажив все рубежи
Московского княжества, кроме тверского:
знал, что именно под Переяславлем решается
судьба войны. И из Звенигорода пришли рат-
ники, и из Можайска, и из Рузы, и из Колом-
ны с коломенским сотником Якушем Балагу-
ром.

Коломенская дружина остановилась в ле-
су на высоком берегу Плещеева озера. Воево-
да Илья Кловыня велел Якушу Балагуру ве-
чером отыскать в прибрежных деревнях ладью
и самому никуда не отлучаться.

— Нужен будешь ночью! — закончил вое-
вода свое короткое наставление.

Якуш понимающе кивнул головой. Он не
стал интересоваться, зачем нужна ладья и
зачем сам он будет нужен воеводе: знал, что
Илья Кловыня до времени ничего не скажет.
Да и сам Якуш привык к загадкам. Послед-
ние три года что ни дело, то загадка! Видно,
уж на такой путь его поставил воевода — хо-
дить в стороне от проторенных дорог!..

Коломенский десятник Левуха Иванов, ко-
торому Якуш Балагур верил, как самому се-
бе, вернулся только к полуночи, шепнул на
ухо:

— Есть ладья... Шесть верст пришлось идти по берегу, пока нашел... Из ближних-то деревень люди от рати разошлись разно...

Шепнул, и замялся, будто еще что-то хотел прибавить, но сразу не решился.

— Да уж говори, чего недоговариваешь! — усмехнулся Якуш. — Вижу ведь, что сказать хочешь!

— С ладьей и хозяина привел, рыбака здешнего. Говорит, без знающего человека по Плещееву озеру плавать опасно, сердитое оно, Плещеево-то озеро. Вот я и подумал...

— Верно подумал. Но рыбака стерегите крепко.

— Стережем. Самко да Ишута глаз не спускают...

Дружинник Самко и Ишута Нерожа, сын воротного сторожа, были людьми надежными, и Якуш успокоился. По делу будет видно, надобен окажется рыбак или нет. Пусть посидит пока под караулом...

Наказ воеводы Ильи Кловыни был короток и прост: выехать в ладье на озеро, стать поодаль от берега, зажечь два факела, подождать, пока на городской башне поднимут три горящих факела, два рядом, а третий — поодаль, и немедля возвращаться. Ждать воевода будет тут же, на берегу. Десятника Левуху, который привел здешнего рыбака, воевода одобрил, но прибавил, как и Якушка: «Стерегите его крепко, чтоб до утра под караулом был!»

Ветер разогнал на озере большую волну. Ладья тяжело опускалась между валами, резала пребни высоким острым носом. Весла рвались из рук. Но рыбак, севший у рулевого

весла за кормчего, уверенно направлял ладью вдоль берега, туда, где неясно маячили над темными валами стены и башни Переяславля-Залесского. Дальше, за невидимой в ночной тьме рекой Трубеж, мигали на прибрежном лугу костры осадного тверского войска.

— Город прямо перед носом! — донесся едва слышный в вое ветра крик рыбака. — Куда дальше править?

— Весла суши! — распорядился Якуш Балагур и кивнул Левухе: — Зажигай!

Десятник Левуха поднес смоляные факелы к свече, спрятанной от ветра в берестяной туесок, и высоко поднял их над головой. Пламя факелов металось, раздуваемое ветром: капли горячей смолы падали в пенистую черную воду.

Почти тотчас над городской башней вспыхнули три дрожащих огонька — два рядом, а третий поодаль. Якуш Балагур облегченно вздохнул. Все было так, как наказывал воевода, можно возвращаться...

Воевода Илья Кловьяня встретил Якуша на самом берегу, даже сапоги намочил в неожиданно набежавшей волне. Спросил нетерпеливо:

— Твои опни выдел, а в городе как?

— Были опни в городе, были! — заверил Якушка. И десятник Левуха подтвердил: — Были!

Илья Кловьяня сразу заторопился, полез по обрыву наверх, где в лесу ждали его ближние дружинники и конные гонцы. Не поворачивая головы, воевода наставлял сотника Якуша Балагура:

— Как в городе набат ударят и сеча нач-

нется, выводил своих коломенцев из леса на берег. Тверичей, кои берегом побегут, промежду лесом и водой, перенимай и вяжи, а биться будут — руби без пощады... А за службу спасибо, большое дело ты сделал...

Самой битвы Якуш Балагур так и не видел. Когда над лесом взошло солнце, набатно загудели колокола в Переяславле-Залесском. До коломенцев доносились приглушенные расстоянием крики, лошадиное ржание, лязг оружия — привычный шум битвы. А здесь, на песчаном пологом берегу, отсеченном обрывом от леса, было тихо. Шевелилась на желтом песке переменчивая полоска прибоя. Проносились над тихой водой чайки, и удивительно мирным и высоким казалось небо над озером.

Только на третьем часу дня¹ на берегу показались первые тверичи, в беспорядке бежавшие от города. Заметив преградившие им дорогу цепи коломенских ратников, беглецы бросали на песок оружие и покорно отходили к обрыву, где обозные мужики вязали им руки сыромятными ремнями. Но беглецов было не много: видно, большие тверские полки отступали в другую сторону, за Трубеж и к устью Нерли...

Позднее Якушу рассказывали, что исход боя решило войско воеводы Ильи Кловыни, неожиданно напавшее с тыла на тверичей. Войнство боярина Акинфа Семесовича, избиваемое с двух сторон, смутилось и побежало, пометав в страхе стяги свои, и много твери-

¹ Для месяца июля это примерно 6 часов утра по современному счету времени.

чей polegло на переяславских полях. Смертный жребий не миновал и самого Акинфа: вместе с зятем Давидом он был поднят на копья ожесточившимися московскими дружинниками.

Уцелевшие тверичи бежали до самой Волги, пугая мужиков в деревнях, хотя погони за ними не было. Погоню не отпустил князь Иван Даниилович, удивив такой рассудительностью даже воспитателя своего Протасия Воронца.

— Нечего нам яриться, не отроки неразумные, которым лишь бы мечом помахивать! — объяснил Иван воеводам. — Свое отстояли, а за чужое пока не время хвататься. Кто знает, чем ордынское дело князя Юрия закончится? Может, с Тверью мириться придется? А для мира лишняя кровь ни к чему. И без того победа славная, по всей Руси эхом отзовется...

* * *

Эхо переяславской победы действительно разнеслось по Руси, воодушевив доброхотов князя Юрия Данииловича Московского, устранив его врагов.

В Костроме горожане поднялись на тверских любезников, на бояр Льва Явидовича, Фрола Жеребца и иных некоторых, дворы их спалили, имение раздували, а слуг боярских Зерна и Александра до смерти забили камнем. Так перестала быть Кострома союзным городом князя Михаила Тверского, хотя и вотчиной Юрия Московского еще не стала.

И в Нижнем Новгороде поднялись вечники, избили бояр покойного великого князя

Андрея, которые по примеру товарища своего боярина Акинфа Семеновича прилепились было к тверскому князю. Плачь, Михаил Ярославич, и о Нижнем Новгороде, не твой он отныне!..

Заклучался в костромском и нижегородском вечевых мятежах великий смысл: посадские люди градов русских сами по себе, без княжеского благословения, держали руку Москвы.

Подлинное значение этого прояснится много позднее, когда властной рукой наследников князя Даниила Александровича начнет Москва собирать вокруг себя все русские земли, объединять удельные княжества в могучую державу, имя которой — Россия.

Доброго ей пути!

3

А пока в белом войлочном шатре ордынского хана Тохты, в душном полумраке чужого жилища, на цветастом ковре, распластавшемся по чужой, иссушенной солнцем земле, — стояли насупротив друг друга два русских князя — Юрий Московский и Михаил Тверской.

Каменно застыли смуглые лица ханских родственников и улусных мурз, сидевших на корточках вдоль стен шатра; глаза их хищно перебегали с золотой гривны на шее князя Юрия на драгоценные перстни князя Михаила, как будто ордынские вельможи заранее прикидывали, кому достанутся эти богатства, если хану покажутся дерзкими речи князей и он прикажет умертвить их.

Шевелился шелковый полог позади ханского трона, выдавая присутствие настороженных нукеров-телохранителей, и тишина в шатре Тохты была напряженно-натянутой, как тетива боевого лука.

Глухо и торжественно звучали слова Юрия Даниловича Московского:

— Старшими в русском княжеском роде ныне князья московские, внуки Александра Ярославича Невского. Москва бьет челом о великокняжеском ярлыке!..

Открывалась новая страница в истории земли Русской: Москва заявила о готовности встать во главе великого народа, не утратившего сознания своего единства даже под тяжким ордынским ярмом, в кровавой неразберихе княжеских усобиц.

Потом будет и изощренное полуазиатское лукавство князя Ивана Калиты, и ратная доблесть князя Дмитрия Донского, и неброское внешне упорство великого князя Василия Темного, и искупительный поход государя всея Руси Ивана III Васильевича к осенним берегам Угры-реки¹, — но отсчет возвышения Московского княжества начинался с Даниила Александровича, первого московского князя, и с сына его Юрия, на бешеном скаку перепяввшего из отцовской руки московский стяг. Да и можно ли отделять конец княжения Даниила Александровича от начала княжения Юрия? Едины они и в мыслях, и в делах...

¹ На берегах реки Угры осенью 1480 года русские войска нанесли поражение хану Большой Орды Ахмату (Ахмед-хану), в результате чего было свергнуто монголо-татарское иго.

А тем же летом через леса, ступенями спускавшиеся к Оке-реке, пугая диких зверей толосами и звоном оружия, пробиралась дружинная конница. Сотник Якуш Балагур, снова исторгнутый из милого сердцу коломенского двора непререкаемым воинским приказом, вел своих товарищей к новому рубежу, на новую московскую заставу, которая встанет на реке Протве.

Не меренными еще верстами катилась под копыта коней лесная дорога, уводившая всадников все дальше от Москвы. Мужики-звероловы в редких лесных деревушках с удивлением разглядывали незнакомый им московский стяг.

Но и здесь, в самой крайней московской волости, бесконечно далеко было до подлинного края Русской земли, и потому не обретет долгожданного покоя бывший мужик Якушка Балагур, как не обретут покоя ни сыновья его, ни внуки, ни правнуки — ратники земли Русской.

Оглавление

Пролог	3
Глава 1. «Дюденева рать»	28
Глава 2. Смерть великого князя	68
Глава 3. Ордынский посол	103
Глава 4. Слава Довмонта Псковского	128
Глава 5. Гжельская застава	153
Глава 6. Кому стоять на Оке-реке?	188
Глава 7. Переяславское наследство	222
Глава 8. О чем думают правители, завершая дни свои?	246
Глава 9. Неудержимый бег времени	268

Вадим Викторович Каргалов

У ИСТОКОВ РОССИИ

(Даниил Московский)

Историческая повесть

Редактор Л. Алексеева

Художник И. Снегур

Художественный редактор Н. Егоров

Технический редактор Н. Децко

Корректоры Н. Попикова, Г. Голубкова

ИБ № 1371

Сдано в набор 30.10.78. Подписано к печати 27.03.79. А10456.
Формат 70х90³². Бумага тип. № 1. Гарнитура литерат. Печать
высокая. Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 10,47. Тираж 30 000 экз.
Заказ № 4934. Цена 80 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

390012, Рязань, Новая, 69/12
Рязанская областная типография



Вадим Викторович Каргалов, профессор кафедры истории Московского государственного института культуры, доктор исторических наук, родился в городе Рыбинске в 1932 году. Автор шестидесяти научных работ по проблемам отечественной истории. Первая историческая повесть В. Каргалова «Русский щит», посвященная героической борьбе Руси против монголо-татарских завоевателей, вышла в 1972 году. Перу В. Каргалова принадлежат также исторические повести «Черные стрелы вятича» и «Колумб Востока», книги «Древняя Русь в советской художественной литературе» и «Московская Русь в советской художественной литературе».